

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА





Jop Kobaan

1938—1995

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Юрий Коваль

**КЕПКА
С КАРАСЯМИ**

Рассказы



Художник Г. Юдин

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
2011

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К56

Предисловие и послесловие
Я. АКИМА

Коваль Ю. И.

К56 Кепка с карасями : рассказы / Юрий Коваль ; [предисл. и послесл. Я. Акима] ; худож. Г. Юдин. — М. : Дет. лит., 2011. — 302 с. : ил. — (Школьная библиотека).

ISBN 978-5-08-004193-8

В книгу известного детского писателя Ю. Ковалья включены лучшие рассказы для детей, полные лиризма и мягкого юмора.

Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-004193-8

© Коваль Ю. И., наследники, 1988
© Аким Я. Л., предисловие, 1985; послесловие, 1997
© Юдин Г. Н., рисунки, 1988
© Составление и оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2011

ПИСАТЕЛЬ И ЕГО КНИГА

Бывает так. Живёшь ты, к примеру, в деревне. Кругом леса. До ближайшей станции далеко. А мечтаешь, по правде говоря, о шумном городе — вот бы где пожить!

Между тем городской мальчишка или девочка о деревенском приволье вздыхает, лета не дожждётся.

Каждый мечтает о своём, далёком и не замечает порой, сколько прекрасного рядом, рукой подать. А люди? Не всякий артист в кино или в театре сумеет правдиво изобразить иного человека, с которым ты каждое утро здороваешься.

Конечно, рассуждать обо всём этом легко, а вот убедить труднее.

И тут самое время потолковать о работе писателя. Ведь именно он, писатель, волшебством своего таланта может так показать, высветить вроде бы знакомую нам повседневную жизнь, что мы начинаем в привычном, обыденном находить красоту.

Мне кажется, у Юрия Коваля, написавшего книгу «Кепка с карасями», есть свой волшебный фонарь, яркий и многоцветный.

Герои Коваля живут не где-нибудь за тридевять земель или на других планетах. И по-

граничники, о которых так увлекательно рассказывает Юрий Коваль, и мудрый дядя Зуй, и приветливая бабка Пантелевна, и школьница Нюрка из тихой деревеньки Чистый Дор, и ещё многие хорошие люди — всё это наши с тобой соседи, земляки, соотечественники.

Березняк на закате и голубое поле цветущего льна, светлое окошко дома и осенний ветер-листобой — это наша Родина.

Всё, что написал Юрий Коваль, проникнуто застенчивой любовью к земле, на которой мы живём, сердечной привязанностью к людям.

Пересказывать поэтичную книгу Юрия Ковалю — занятие малополезное. То же самое, что пытаться своими словами передать содержание лирического стихотворения. Хочется лишь сказать об удивительной чистоте фразы, музыкальном звучании книжной страницы. Именно звучании. Обидно такую книгу читать наспех, проглядывать — необходимо пробовать на слух.

Вот послушайте.

«Безоблачной ночью плавает над Чистым Дором луна, отражается в лужах, серебрит крытые щепой крыши. Тихо в деревне.

С рассветом от берега Ялмы раздаются глухие удары, будто колотит кто-то в заросший мохом колокол. За вербами темнеет на берегу кузница — дощатый сарай, древний, закопчённый, обшитый по углам ржавыми листами жести. Отсюда слышны удары».

Книга Юрия Ковалея делает нас добрее. И непримиримее ко всякому злу, жестокости, душевной глухоте.

Прочитаешь рассказ «У Кривой сосны» — сердце защемит от жалости к убитому лосёнку и люто возненавидишь сгубившего его охотника. А в тревожном рассказе «Гроза над картофельным полем» речь идёт уже о человеческой жизни, едва не оборвавшейся нелепо и бессмысленно.

По душе мне в этой книге и авторская улыбка.

Писатель не старается тебя рассмешить во что бы то ни стало. По-моему, он доволен, когда читатель улыбается. Улыбка сближает людей: она похожа на тёплый лучик, протянувшийся от человека к человеку.

В рассказе «Кепка с карасями» бескорыстный дядя Зуй ведёт гостя в соседнюю деревню вовсе не за даровыми карасями, просто не может дядя Зуй пропустить такой случай — познакомить нового своего друга с ещё одним тоже хорошим человеком.

Сборник «Кепка с карасями» — только часть многолетнего труда, тяжёлого и прекрасного.

Вначале Юрий Коваль придумывал диктанты для своих учеников, когда работал учителем в сельской школе, похожей на ту, что описана им в книге. Сочинял стихи и песни. Давно начал рисовать — наверно, это увлечение помогло ему точным словом передать

неторопливую смену времён года, резкие тени южных гор, спокойную красоту русских лесов и полей. Иногда писатель сам делает рисунки к своим книгам, а несколько ярких, нарядных детских книжек — «Стеклянный пруд», «Заячьи тропы», «Журавли», «Снег» — создал вместе с замечательной художницей Татьяной Мавриной.

Много хорошего, доброго сделано писателем за два десятилетия. Увлекательные, непохожие одна на другую повести «Недопёсок», «Приключения Васи Куролесова», «Пять похищенных монахов», «Самая лёгкая лодка в мире» — мои любимые книги. Впрочем, их любят тысячи и тысячи маленьких и взрослых читателей. Произведения Ю. Ковалёва переведены на многие языки, часто звучат по радио, по ним снимаются кинофильмы. Каждый раз, читая и перечитывая эти книги, мы с вами будем радоваться, что написаны они нашим другом — мудрым писателем с волшебным фонарём в руке.

Я. Аким
1985

АЛЫЙ







АЛЫЙ

Приехал на границу молодой боец по фамилии Кошкин. Был он парень румяный и весёлый.

Командир спросил:

— Как фамилия?

— Ёлки-палки, фамилия-то моя Кошкин, — сказал Кошкин.

— А при чём здесь ёлки-палки? — спросил командир и потом добавил: — Отвечай ясно и толково, и никаких ёлок-палок. Вот что, Кошкин, — продолжал командир, — собак любишь?

— Товарищ капитан! — отвечал Кошкин. — Скажу ясно и толково: я собак люблю не очень. Они меня кусают.

— Любишь не любишь, а поедешь ты, Кошкин, учиться в школу собачьих инструкторов.

Приехал Кошкин в школу собачьих инструкторов. По-настоящему она называется так: школа инструкторов службы собак.

Старший инструктор сказал Кошкину:

— Вот тебе щенок. Из этого щенка нужно сделать настоящую собаку.

— Чтоб кусалась? — спросил Кошкин.

Старший инструктор строго посмотрел на Кошкина и сказал:

— Да.

Кошкин осмотрел щенка. Щенок был небольшой, уши его пока ещё не торчали. Они висели, переломившись пополам. Видно, щенок только ещё начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете.

— Придумай ему имя, — сказал старший инструктор. — В этом году мы всех собак называем на букву «А» — Абрек, Акбар, Артур, Аршин и так далее. Понял?

— Понял, — ответил Кошкин.

Но по правде говоря, он ничего не понял. Тогда ему объяснили, что пограничники каждый год называют собак с какой-то одной буквы. Поэтому стоит сказать,

как зовут собаку, и ты узнаешь, сколько ей лет и в каком году она родилась.

«Ну и ну! — подумал Кошкин. — Здорово придумано!»

Кошкин взял щенка под мышку и понёс его в казарму. Там он опустил его на пол, и первым делом щенок устроил большую лужу.

— Ну и щенок на букву «А»! — сказал Кошкин. — С тобой не соскучишься.

Щенок, понятное дело, ничего на это не ответил. Но после того как Кошкин потыкал его носом в лужу, кое-что намотал на ус.

Вытерев нос щенку специальной тряпкой, Кошкин стал думать: «Как же назвать этого лоботряса? На букву «А», значит... Арбуз?.. Не годится. Агурец? Нет, постой, «огурец» — на букву «О»...»

— Ну и задал ты мне задачу! — сказал Кошкин щенку.

Кошкин долго перебирал в уме все слова, какие знал на букву «А».

Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия. Имя получилось такое — Алы́й.

— Почему Алы́й? — удивлялись пограничники. — Он серый весь, даже чёрный.

— Погодите, погодите, — отвечал Кошкин. — Вот он высунет язык — сразу поймете, почему он Алый.

Стал Кошкин учить Алого. А старший инструктор учил Кошкина, как учить Алого. Только ничего у них не выходило.

Бросит Кошкин палку и кричит:

— Апорт!

Это значит «принеси».

А Алый лежит и не думает бегать за палкой. Алый так рассуждает: «Стану я бегать за какой-то палкой! Если б ты мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы — понятно, я бы побежал. А так, ёлки-палки, я лучше полежу».

Словом, Алый был лентяй.

Старший инструктор говорил Кошкину:

— Будьте упорней в достижении своих целей.

И Кошкин был упорен.

— Что ж ты лежишь, голубчик? — говорил он Алому. — Принеси палочку.

Алый ничего не отвечал, а про себя хитро думал: «Что я, балбес, что ли? За палочкой бегать! Ты мне кость брось».

Но кости у Кошкина не было. Он снова кидал палку и уговаривал Алого:

— Цветочек ты мой аленький, лоботря-

сик ты мой! Принесёшь, ёлки-палки, палку или нет?!

Но Алый тогда поднимался и бежал в другую сторону, а Кошкин бежал за ним.

— Смотри, Алый, — грозился Кошкин, — хвост отвинчу!

Но Алый бежал всё быстрее и быстрее, а Кошкин никак не мог его догнать. Он бежал сзади и грозил Алому кулаком. Но ни разу он не ударил Алого. Кошкин знал, что собак бить — дело последнее.

Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать. Он понимал, например, что Кошкин — это Кошкин, мужик хороший, который кулаком только грозит. Теперь уж, когда Кошкин бросал палку, Алый так рассуждал: «Хоть это и не кость, а просто палка, ладно уж — принесу».

Он бежал за палкой и приносил её Кошкину. И Кошкин радовался.

— Алый, — говорил он, — ты молодец. Вот получу из дому посылку — дам тебе кусок колбаски: пожуёшь.

А Алый ничего не говорил, но так думал: «Что-то твои посылки, товарищ Кошкин, долго идут. Пока они дойдут, можно с голодухи ноги протянуть».

Но всё же протягивать ноги Алый не собирался. Всех собак кормили хорошо,

а Кошкин даже ходил на кухню клянчить кости. И будьте спокойны, Алый эти кости обгладывал моментально.

Вскоре Алый вырос и стал совсем хорошо слушаться Кошкина, потому что он полюбил Кошкина. И Кошкин Алого очень полюбил.

Когда Кошкин получал из дому посылку, он, конечно, делился, давал чего-нибудь и Алому пожевать.

Алый посылки ниоткуда не получал, но думал так: «Если б я получил посылку, я бы тебе, Кошкин, тоже отвалил бы чего-нибудь повкуснее».

В общем, жили они душа в душу и любили друг друга всё сильнее и сильнее. А это, что ни говорите, редко бывает.

Старший инструктор частенько говорил Кошкину:

«Кошкин! Ты должен воспитать такую собаку, чтоб и под воду, и под воеводу!»

Кошкин плохо представлял себе, как Алый будет подлезать под воеводу, но у старшего инструктора была такая пословица и с ней приходилось считаться.

Целыми днями, с утра и до вечера, Кошкин учил Алого. Конечно, Алый быстро понял, что значит «сидеть», «лежать», «к ноге» и «вперёд».

Как-то Кошкин дал ему понюхать дра-

ную тряпку. Тряпка как тряпка. Ничего особенного.

Но Кошкин настойчиво совал её Алому под нос. Делать было вроде особенно нечего, поэтому Алый нюхал тряпку и нанюхался до одурения. Потом Кошкин тряпку убрал, а сам куда-то ушёл и вернулся только часа через два.

— Пошли, — сказал он Алому, и они вышли во двор.

Там, во дворе, стояли какие-то люди, закутанные в толстые балахоны. Они стояли спокойно, руками не махали и только смотрели на Алого во все глаза. И вдруг волной хлестнул запах от одного из них, — Алый зарычал и бросился к этому человеку, потому что так точно пахла тряпка, какую давал ему Кошкин.

— Ну что ж, — сказал старший инструктор, который стоял неподалёку, — с чутьём у Алого всё в порядке, но это ещё не самое главное.

Однажды Кошкин посадил Алого в пограничную машину «ГАЗ-69». В машине их уже ожидал старший инструктор. Алый сразу же хотел укусить старшего инструктора, но Кошкин сказал ему:

— Сидеть!

«Я, конечно, могу укусить и сидя, — подумал Алый, — но вижу, ёлки-палки, что этого делать не следует».

Машина немного потряслась на просёлочной дороге и остановилась у леса.

Кошкин и Алый выпрыгнули из кабинки, а следом — старший инструктор. Он сказал:

— Товарищ Кошкин! Нарушена государственная граница СССР. Ваша задача: задержать нарушителя!

— Есть задержать нарушителя! — ответил Кошкин как полагается. Потом он погладил Алого и сказал: — Ищи!

Кого искать, Алый сразу не понял. Он просто побежал по опушке леса, а Кошкин — за ним, а старший инструктор — за Кошкиным. Одной рукой Кошкин держал Алого на поводке, другой — придерживал автомат.

Алый пробежал немного вправо, потом немного влево и тут почувствовал запах — чужой и неприятный. Ого! Здесь прошёл человек! Трава, примятая его ногами, успела распрямиться. Но запах-то остался, и Алый рванулся вперёд. Он взял след.

Теперь они бежали по лесу, и ветки сильно хлестали Кошкина по лицу. Так всегда бывает, когда бежишь по лесу, не разбирая дороги.

Тот, кто прошёл здесь несколько часов назад, хитрил, запутывал след, посыпáл его табаком, чтобы отбить у собаки охоту бежать за ним. Но Алы́й след не бросал.

Наконец они прибежали к небольшому ручью, и здесь Алы́й забеспокоился. Тот человек прошёл давно, и вода, которая имела его запах, утекла куда-то далеко вниз.

Теперь она пахла водорослями, камешками, проплывающим пескарем. И Алому захотелось поймать этого пескаря. Но пескарь спрятался под камень. Алы́й тронул камень, но оттуда выскочили сразу три пескаря.

Тут Кошкин увидел, что Алы́й ловит пескаря, и сказал:

— Фу!

Они перебрались на другой берег, и снова Алы́й почувствовал чужой запах.

Скоро они выскочили на открытую поляну и увидели того, за кем гнались.

Тот бежал и оглядывался и махал от страха руками, и рукава его одежды были ужасно длинными.

Кошкин бросил поводок, и Алы́й огромными прыжками стал нагонять нарушителя. Потом он прыгнул последний раз, пролетел по воздуху, ударил бегущего в спину и сшиб его с ног. Тот упал ничком и даже

пошевелиться не мог, потому что Алый придавил его к земле.

Кошкин еле оттащил Алого за ошейник.

Тогда лежащий приподнялся и сказал:

— Ну и собачка у вас, товарищ Кошкин! Обалдеть можно!

Человек, за которым они гнались, был не кто иной, как Володька Есаулов, приятель Кошкина и тоже пограничник. И всё это была пока учёба.

Старший инструктор сказал:

— Собака работала хорошо. За такую работу ставлю ей отметку «четыре».

— За что же «четыре»? — спросил Кошкин. — Надо бы «пять».

— За пескаря, — ответил старший инструктор.

«Проклятый пескарь!» — подумал Кошкин. Он хорошо знал, что пограничная собака не должна отвлекаться, когда идёт по следу.

Все сели в машину, чтобы ехать назад, а Кошкин достал из кармана отличный сухарик и сунул его Алому в пасть.

И Алый, хрустя сухарём, подумал про старшего инструктора и про Володьку Есаулова: «Вам небось после такой беготни тоже хочется погрызть сухарика, да товарищ Кошкин не даёт».

...Наконец настал день, когда Кошкин

и собака Алы́й попрощались со школой собачьих инструкторов. Они поехали служить на границу.

Начальник заставы сказал:

— А, ёлки-палки, Кошкин!

— Так точно! — гаркнул Кошкин, да так громко, что у начальника заставы чуть револьвер не выстрелил.

— Вижу, вижу, — сказал начальник, — вижу, что ты научился отвечать как следует. Только попрошу так сильно не орать, а то у меня чуть револьвер не выстрелил.

Потом командир спросил:

— Как же зовут собаку?

— Алы́й, товарищ капитан.

— Алы́й? — удивился начальник заставы. — Почему Алы́й?

— А вы погодите, товарищ капитан, — ответил Кошкин, — вот он высунет язык, и вы сразу поймёте, почему он Алы́й.

А застава, куда приехали Кошкин и Алы́й, была в горах. Кругом-кругом, куда ни погляди, всё горы, горы... Все они лесом заросли: ёлками, дикими яблонями. Взбираются деревья вверх, налезают на скалы. А из-под корней вываливаются круглые камни да острые камешки.

— Видишь, Алы́й, — говорил Кошкин, — вот они, горы. Это тебе не школа собачьих инструкторов.

Алый глядел на горы и думал: «Просто странно, отчего это земля так вздыбилась, к небу колесом пошла?.. Быть бы ей ровной...»

Трудное дело — охранять границу. Днём и ночью ходили Кошкин и Алый по инструкторской тропе. Тропа эта — особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха.

Рядом с инструкторской тропой идёт широкая вспаханная полоса. Кто бы ни пошёл через границу, обязательно оставит след на вспаханной полосе.

Вот Кошкин и Алый ходили по инструкторской тропе и смотрели на вспаханную полосу — нет ли каких следов?

Дни шли за днями, и ничего особенного не происходило. А на вспаханной полосе были только шакальи да заячьи следы.

— Дни идут за днями, — говорил Кошкин, — а ничего особенного не происходит.

«Беда невелика, — думал Алый. — Не происходит, не происходит да вдруг и произойдёт».

И действительно.

Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать — тревога!

Тревога!

Кто-то перешёл границу!

Тревога!

В ружьё!

Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо...

Кошкин и Алы́й очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели — тёмные рыбы с коричневыми звёздами на боках.

На берегу Кошкин увидел знакомого старика, который вообще-то жил неподалёку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам.

— Здравствуй, Александр, — сказал Кошкин.

Старик кивнул.

— Никого не видел? — спросил Кошкин.

— Видел.

— Кого?

— Босого мужика.

— Тю! — сказал Кошкин. — Какого босого мужика?

— Тю, — сказал теперь уже старик Александр. — Косолапого.

Кошкин плюнул с досады: он вспомнил, что «босым» называют медведя.

— А больше никого не видел?

— Видел.

— Кого?

— Обутого мужика.

— Ох, — рассердился Кошкин, — дело говори!

Но старик Александр дело говорить не стал. Он любил говорить странно и шутливо, поэтому сейчас он просто ткнул пальцем в сторону лысой горы. Но Кошкину и этого было достаточно. Он сделал Алому знак, и они побежали в ту сторону.

Было тихо, тихо, тихо. Но вдруг откуда-то сорвался ветер, закрутился колесом и донёс до Алого запах, странный, недобрый. Тронул ветер верхушки ёлок и тревожно затих и так притаился, как будто ветра и не было на свете...

Алый взял след. И теперь Кошкин продирался за ним через густые терновники, скатывался в овраги, поросшие ежевикой. Алый шёл по следу возбуждённо — острый, чужой запах бил прямо в нос.

Алый зло залаял, и сразу Кошкин увидел человека — на дереве.

Он сидел на дереве, на дикой яблоне, — словно пантера, прижался к чёрному корявому суку.

— Вниз!

И человек спрыгнул с ветки и, отряхиваясь, заговорил:



— Да я так просто, яблочков хотел пожевать, яблочков.

— Оружие — на землю!

— Да нет у меня никакого оружия, — сказал человек. — А я так просто, яблочков хотел было пожевать, кисленьких.

И вдруг он прыгнул на Кошкина и в ту же секунду оказался на земле, потому что Алый сшиб его с ног и прокусил руку, сжимавшую нож.

— О-о-о! — закричал человек, а потом замолчал — так страшно было увидеть над собой раскрытую собачью пасть...

Когда Кошкин вёл его на заставу, он всё бубнил:

— А я-то яблочков хотел было пожевать... — А потом оглядывался на Алого и говорил: — У-у-у! Дьявол проклятый!

Алый бежал сбоку, и, что он думал в этот момент, сказать трудно.

Так и служили Кошкин и Алый на границе.

Командир заставы часто посылал их в секрет. Они прятались в кустах и следили, чтоб никто не перешёл границу.

Они так прятались, что их нельзя было увидеть, а они видели всё. Словом, секрет.

Пробегал мимо заяц — они даже и не шевелились. Если пробегал шакал, тогда

Алый думал: «Беги, шакал, беги. Жаль, что я пограничная собака, а то бы я тебе уши-то пооборвал».

Кошкин, конечно, не знал, о чём думает Алый, но сам глядел на шакала и думал: «Жалко, что Алый — пограничная собака, а то бы он от этого шакала камня на камне не оставил».

Вот так и служили Кошкин и Алый на границе. Время шло и медленно и быстро.

«Медленно-то как идёт время», — думал Кошкин иной раз.

«Быстро-то как время бежит», — думал он в другой раз.

Уже наступила весна. С гор текли ручьи из растаявшего снега и льда. На некоторых тёплых местах даже пошевеливались змеи и ящерицы. Было полно подснежников и горных фиалок.

Кошкин и Алый шли по инструкторской тропе.

От ручьёв и тающего снега, мокрых камней и свежей земли, от цветов и от ящериц стоял такой могучий и нежный запах, что у Кошкина кружилась голова и он был ужасно чему-то рад.

Алый фыркал, водил по сторонам мокрым носом и тоже был странно возбуждён.

«Ёлкины палки, — думал Алый, — что это со мной творится?» Он как-то не понимал, что просто его охватило весеннее собачье веселье.

Чоп-чоп-чоп-чоп! — Алый бежал по оттаявшей вязкой земле.

Фру-фру-фру-фру! — теперь он ломал ледяную корку.

Они спустились в ущелье, и Алый зло ощетинился. И Кошкин сразу увидел следы.

Огромные, чёрные, они ясно отпечатались на вспаханной полосе. Это были совсем свежие следы медведя.

«Может быть, человек?» — подумал Кошкин. Он знал, что есть люди, которые надевают на ноги подобия медвежьих лап, чтобы перейти границу.

Кошкин внимательно оглядел след. Сомнений не было — медведь. Но надо было проверить.

Алый чуть дрожал, скалил зубы, чувствовал зверя. Ясно было — медведь. Только надо было проверить.

— Вперёд! — шепнул Кошкин.

Алый туго потянул поводок и пошёл по следу.

Солнце поднялось выше, и ручьи заурчали погромче. Послышались новые, самые разнообразные звуки: какие-то потрескиванья, позвякиванья, потряхиванья.

«Оррк! Оррк!» — орал в небе огромный вóрон, утомлённый солнечной весной.

След привёл к большим камням, которые громоздились в устье ущелья. Камни были покрыты ледяной коркой, а на ней мелкой россыпью бродили ручейки, разрезали узорными желобками лёд. От камней поднимался пар.

Они вбежали в облако пара, и тотчас закружились белые струйки, как будто все бесчисленные весенние ручейки вдруг рванулись вверх, к небу.

«Ах! Ах! — залаял Алый, и залаял он не так, как обычно, а странно: — Ах! Ах!»

Огромный зверь встал перед ними. И так близко, что видны были весенние капли в блестящей шерсти.

Медведь!

Кошкин изо всей силы рванул поводок и отбросил Алого назад.

Но медведь был по-весеннему зол. Он вздыбил шерсть и замигал глазками, красными и разъярёнными. Прыгнул вперёд, подцепил Алого лапой.

Алый увернулся бы, да камень помешал — камень, окутанный паром. От страшного удара Алый взлетел в воздух, разбрызгивая капли крови.

«Алый!» — хотел крикнуть Кошкин, но крикнул только:

— А-а-а!.. — и поднял автомат, и выстрелил несколько раз.

Мёртвый медведь лежал, вцепившись зубами в камень. Он крепко обнял его мохнатыми лапами, и светлый ручей из расселины хлестал через его голову.

Кошкин перевязал Алого и понёс его на заставу. Все мысли Кошкина запутались, сбились в клубок. Он прижимался ухом к спине Алого и слышал, как невероятно быстро, не по-человечески колотится его сердце.

На заставе фельдшер промыл рану Алого и долго-долго зашивал её. Было ужасно больно. Алому всё время хотелось зря уку-сать фельдшера, но Кошкин стоял рядом, гладил Алого и нарочно грубо говорил:

— Подумаешь, медведь! Барахло какое!

«Зашивайте, зашивайте поскорее, — думал Алый. — Больно же...»

Когда фельдшер зашил рану, Алый сразу хотел вскочить, но сил-то не было. И Кошкин понёс его в сарайчик, где жили собаки. На руках у Кошкина Алый уснул...

Потом побежали день за днём. Солнце перекатывалось над горами, облака сталкивались в небе с тучами, падал на землю дождь, и навстречу ему выползали из

земли толстые стебли, налитые зелёным соком.

Алый всё время чувствовал, как заживает, затягивается его рана, и торопился её лизать. Ему казалось, что он может слизнуть языком тупую, тягучую боль.

Когда рана поджила, Кошкин стал выводить его во двор заставы. Кошкин садился на лавочку и играл на гитаре, а Алый лежал у его ног, мигая на солнце.

Алому было странно слушать, как тянутся звуки со струн, плывут над его головой и закруживают её. Он поднимал голову — и утомительный вой вылетал из его горла. И Алый закрывал глаза и хватал зубами воздух, будто хотел укусить собственную песню.

Подходили пограничники, слушали Алого и смеялись, расспрашивали про медведя.

— Вообще-то я медведей побаиваюсь, — говорил Кошкин, отставив гитару. — Кусаются.

Алый, конечно, ничего не говорил, но думал: «С медведями держи ухо востро!»

Весна прошла, а потом прошло и лето, а потом и осень кончилась. Выпал снег. От него выровнялись кривые горы, и даже в ущельях, под нависшими камнями, сделалось ясно.

Хоть и неглубок был первый снег, на нём хорошо был виден след нарушителя. Снег был пробит, продавлен подкованным сапогом до самой земли, до осеннего листа.

— Тяжёлый человек прошёл, — сказал рядовой Снегирёв про того, кто натоптал след.

— Да, — отозвался Кошкин, — тяжело-ловат.

Алый нервничал, тянул Кошкина по следу, но Кошкин сдерживал его, раздумывал.

— Ну? — спросил Снегирёв.

— Будем преследовать, — отозвался Кошкин и кивнул Алому.

Быстро пошёл Алый по следу. Бежит за ним Кошкин, старается так поспевать, чтобы ошейником не резало ему шею. Снегирёв бежит чуть сзади.

След — в крутую гору. Видно, что «тяжёлому» трудновато подниматься. Вот он споткнулся... Стоп! Разглядел Кошкин след, и стало ему понятно, что впереди — двое, что «тяжёлый» тащит на себе «лёгкого».

Поднялись в гору — след под гору пошёл. Трудно бежать под гору — пороша все камни покрыла. Оступишься — и выскользнет камешек из-под ноги, да так вы-

скользнет, что тебя перекувырнёт в воздухе да об этот камешек затылком трахнет.

След привёл к дороге, и там Кошкин понял вот какую штуку: «тяжёлый» отпустил «лёгкого». Тот вперёд побежал, а «тяжёлый» его следы затаптывал.

Ух, горные дороги! Справа — скала, слева — обрыв, а на дне его — бешеный зелёный ручей. Крутит, вертит дорога вокруг горы — за скалу, за корявую кручу.

Выбежали Кошкин и Алый за поворот — выстрел навстречу. Пуля взвизгнула об камень, ударилась о другой, забилась яростно между камнями, пока не утонула в мягком стволе дерева.

Кошкин и Алый за валуном схоронились, за другим — Снегирёв. Выстрел — заныли каменные осколки, пуля дугой улетела в небо.

Кошкин выглянул осторожно и увидел, как темнеет за камнем рука с пистолетом, покачивается в воздухе... Ударил Кошкин из автомата и разбил её.

Прыжок — Алый взмахнул на спину «тяжёлого», режет когтями его одежду, страшными зубами шею сдавил.

Подбежали Кошкин и Снегирёв, обезоружили нарушителя, связали. Скорчившись, сидел нарушитель на земле, дрожал, и вокруг него таял снег. Он плевал

себе под ноги, и Кошкин Алого в сторону отвёл, будто боялся, что плевки злого человека ядовитые.

Кошкин и Алый побежали дальше по следу, а Снегирёв остался пойманного сторожить.

Дорога здесь была уже нахожена-наезжена, и следы «лёгкого» поэтому часто терялись, затаивались среди следов других людей.

Впереди у дороги стоял дом. Тут жил старик Александр. Кошкин оглядел дом, укрывшись за скалой. В узких окошках ничего не было видно, а на диких яблонях, растущих вокруг, сидели куры.

Алый тянул по следу мимо дома, но Кошкин решил зайти, расспросить Александра.

Старик сидел в комнате, завешанной вязками красного перца и косицами, наплетёнными из лука. Он курил трубку.

— Здравствуй, Александр, — сказал Кошкин, придерживая Алого.

Александр выпустил колесо дыма.

— Здравствуй, Кошкин.

— Никого не видел?

— Видел, — сказал Александр и, косясь на Алого, снова выпустил колесо дыма. Оно неторопливо догнало первое, ещё висящее в воздухе.

— Скорее! — сказал Кошкин. — Скорее говори: где он?

Александр подмигнул Кошкину и выпустил третье колесо.

— Не спеши, не спеши, Кошкин, — сказал Александр и, выпустив четвёртое колесо дыма, встал.

Он подошёл к окну и поглядел в него, а потом поманил Кошкина пальцем.

Кошкин выглянул в окно и увидел врага. С крутого откоса тот спускался вниз, к ручью.

Вода раскалывается о камни, грохочет, разлетается пеной, брызгами.

Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами и с внезапным рёвом поворачиваются лениво и грозно набок.

Осторожно спускается Кошкин, прячется за кустами с красными ягодами, за валунами, припорошёнными снегом.

За звоном воды, за каменным гулом не слышно шага, треска колючего сучка под ногой. И не слышно, как орёт в небе вóрон, а только разевает рот, пролетая за гору.

Алый медленно ведёт, извивается напряжённо, как живая пружина. Он весь наполнен запахом врага, он видит его.

Тот уже у самого ручья. Остановился, думает, где ручей перейти.

Алый сжался в комок.

Вот Кошкин отпустит его.

Вот отпустил...

Алый расстелился по земле — и прыгнул, будто взмахнул всем телом. Остановился, застыл в воздухе на секунду — и рухнул на врага. Ударил его в спину. Рванул.

Тот упал, но вывернул назад руку и выстрелил в Алого — раз, другой, третий.

Алый вырвал пистолет, и металл будто треснул в его зубах, как чёрная кость.

Кошкин ударил врага, скрутил ему руки...

Зелёные дуги сшибаются в ручье, захлёстывают друг друга, звон выбивают и пену.

Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движения лежал Алый на снегу.

Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем.

Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. Руки его стали алыми.

Алый был жив, когда Кошкин принёс его на заставу. Пули не задержались в его теле — вылетели вон.

Алый тяжело дышал, и глаза его то просветлялись, то становились мутными. Кошкин глядел в них и не знал, видит ли его Алый.

Но Алый видел Кошкина и понимал, что это Кошкин — мужик хороший.

— Умрёт он, — сказал фельдшер.

Но Кошкин не поверил. Он сидел рядом с Алым и гладил его по голове. Он рассказывал Алому, что скоро получит из дому посылку. А там, в этой посылке, чего только не будет: и колбаса, и сало, и коржики.

— То-то пожуём, — говорил Кошкин.



Алому было приятно слушать голос Кошкина. Но только над головой его поплыли длинные мягкие птицы, закружили её, заморозили. Голова его стала такая тяжёлая, что он не смог её больше держать и уронил на передние лапы.

«Жалко мне тебя, Кошкин...» — подумал было Алы́й, но не сумел додумать, почему он жалеет Кошкина. Алы́й вздрогнул два раза и умер.

А Кошкин никак не мог понять, что Алы́й умер. Он гладил его и говорил:

— И колбаса там будет, и сало, и коржики...

ЕЛЕЦ

На одной заставе жил пёс, которого звали Елец. Это был уже старый пёс. Настоящую службу он нести не мог.

— Что поделать, — говорил сержант Кошкин, — собаки быстро стареют, не то что человек.

Но конечно, дело было не только в этом. Чуть не десять лет охранял Елец границу. И за это время побывал в разных переделках. В таких, из которых человек-то не всегда целым выходил.

Но Елец всё-таки вышел из этих переде-

лок и теперь жил как бы на пенсии. Горшок борща с хорошей костью — вот это и была его пенсия.

А застава, где жил Елец, находилась на вершине горы, и дороги туда не было.

Вместо дороги в гранитной скале были выбиты ступеньки — ровно четыре тысячи. По этим ступенькам каждое утро вниз, в долину, спускался Кошкин и ещё два бойца. Они шли вниз, на базу, а с ними бежал Елец.

Холодно было на вершине.

С заставы бойцы выходили в полушубках, но, пройдя три тысячи ступенек, полушубки снимали и прятали в расселину — с каждым шагом становилось теплей.

Пока они хлопотали на продовольственной базе, Елец лежал на тёплых камнях и сонно хлебал борщ из алюминиевой миски. К полудню Кошкин оканчивал свои дела.

— Ну, — говорил он, подмигивая Ельцу, — теперь бы окрошечки погонять.

Как-то они возвращались на заставу и тащили на себе большие мешки, а Кошкин нёс ещё и бидон с молоком.

Бидон сверкал, и издалека казалось — три горбуна ползут по лестнице в облака и несут с собою зеркало.

Издали на пограничников смотрел человек.

А они обливались потом и старались не считать про себя ступеньки. Но ступеньки считались сами собой: сто одна, сто две, сто три, сто четыре...

У тысячной ступеньки Кошкин поставил бидон, достал из расселины полушубок и вытряхнул ящериц, которые грелись в рукавах.

— Катитесь! — сказал он ящерицам.

С вершины дунул ветер, поднял со ступенек горсть гранитной пыли. Елец зарычал.

К запаху ветра, пришедшего с вершины, подмешался запах человека.

— Чужой, — сказал Кошкин.

— Да нет, это Елец так волнуется, от старости.

«Неужто заметили?» — подумал человек, укрывшийся в камнях, и поднял пистолет.

— Чужой! — повторил Кошкин.

И тут же белый снап ударил его в лицо. Пуля пробила бидон — молочная струя хлестнула по ступенькам.

Нарушителю показалось, что выстрел сшиб всех трёх пограничников. Только пёс крутился на ступенях. А они отползли со ступенек и повисли над обрывом. Мешки заслонили их.

Нарушитель ещё раз выстрелил в Ельца, и пуля — надо же! — снова ударила в бидон. Он прыгнул от удара и со звоном покатился вниз, разбрызгивая остатки молока.

Бидон сорвался в пропасть, и ветер подхватил его, засвистел в дырках от пуль. Бидон падал в пропасть, словно огромный сверкающий свисток.

Кошкин увидел человека, прижавшегося к камню, и выстрелил. Пуля попала в камень — осколки резанули нарушителя по щеке. Он побежал.

Кошкин ещё раз выстрелил — нарушитель оступился и сорвался в пропасть, где прыгал ещё и бился на дне измятый простреленный бидон.

Как-то сержант Кошкин увидел во дворе продовольственной базы ушастого ишака.

— Это ещё что? — спросил он.

— Ишак, — ответили солдаты с продовольственной базы, — мы на нём продукты возим.

— Дела! — сказал Кошкин. — А как его зовут?

— А никак. Ишак, и всё.

— Вот что, ребята, отдайте его мне.

— Ну нет, — сказали солдаты, — это наш ишак, а не твой.

— Ладно вам, — уговаривал их Кошкин и объяснял, как трудно таскать на гору продукты.

Пока сержант разговаривал с солдатами, Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом в бок. Ишак качнул головой.

— Да не пойдёт он по ступенькам, — говорили солдаты с продовольственной базы, — этот ишак привык ходить по ровному месту.

— Моя будет забота, — ответил Кошкин.

Он привязал на спину ишаку мешки с продуктами и бидон. Потом хлопнул его ладонью и сказал: «Валяй!»

Ишак потихоньку пошёл, покачивая головой.

У скалы, где начинались ступеньки, ишак остановился.

— Так и есть, — говорили солдаты с продовольственной базы (они глядели снизу в бинокль), — этот ишак привык ходить по ровному месту.

— Давай, давай, — подталкивал ишака Кошкин, — валяй!

Ишак не хотел идти вверх. Не то чтобы он упирался или брыкался, а просто стоял, и всё.

— Ишак-то наш, — сказал Кошкин, — видно, глуповат.

Тогда Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом.

То ли нос был у Ельца холодный, то ли, наоборот, тёплый — только ишак качнул головой и пошёл по ступенькам.

«Да что он? Укусил его, что ли?» — думали солдаты с продовольственной базы.

Ишак медленно поднимался в гору, ступенька за ступенькой. Елец бежал рядом и поглядывал, как бы ишак не свалился в пропасть. Так они и добрались до заставы: впереди ишак, за ним Елец, а следом, на легке, Кошкин.

Прошла неделя, другая, и Кошкин перестал спускаться вниз.

Он навьючивал на ишака порожние мешки, хлопал его ладонью и говорил: «Валяй!» Ишак спускался по ступенькам, а следом бежал Елец. На базе солдаты нагружали ишака, тоже хлопали его по спине и тоже говорили: «Валяй!» Ишак отправлялся обратно.

Издали странно было видеть, как поднимается по ступеням в облака маленький ушастый ишак, тащит на себе мешки и бидон, сверкающий, как зеркало, а следом бежит старый пёс Елец.

КОЗЫРЁК

Высоко в горах — пограничная застава.

Там совсем не растут деревья. Даже ни одного кустика нигде не видно — всё серые скалы и красные камни.

Круглый год над заставой дует ветер.

Летом он несёт мелкие камешки и пыль, весной и осенью — пыль, смешанную с дождём и снегом, а зимой — снег, снег, снег...

В тот год зима пришла рано. Горный тугой ветер наметал огромные сугробы, разрушал их и взамен выдувал новые, ещё более огромные и причудливые.

Начальником заставы был лейтенант по фамилии Генералов.

— С такой фамилией быть тебе генералом, — говорили ему друзья.

А лейтенант Генералов отвечал:

— Мне и так неплохо.

Рано утром 31 декабря, то есть под самый Новый год, лейтенант вышел на крыльцо и удивился: тихо вокруг и даже солнце светит. Он уже хотел закурить, как вдруг увидел на склоне горы какую-то штуку.

«Это ещё что? — подумал лейтенант. — Неужто козырёк?»

На склоне горы, над обрывом, висел большой тяжёлый сугроб, нахлобученный ветром на камни.

В горах ветер выделяет со снегом всякие чудеса. Вот он смёл его на край обрыва — и получился сугроб-козырёк. Висит он в воздухе, и, на чём держится, непонятно. А сорваться может в любую минуту.

Было очень солнечно, и козырёк светился оранжевым и красным. Под ним лежала ясная изумрудная тень, и в тени этой медленно двигались кривые солнечные зайчики.

Самый край козырька был зазубренный, будто хребет какого-то древнего зверя. Он припал к скале, прижался к камню холодным радужным телом — вот прыгнет вниз и накроет человека широким крылом.

— Да, — сказал старшина Кошкин, подходя к лейтенанту, — противная штукавина.

Они ещё поглядели на козырёк и решили его разрушить.

— А то ведь что может быть, — сказал старшина, — снегу поднавалит, рухнет козырёк и, того гляди, кого-нибудь из наших ребят зацепит.

Лейтенант и старшина надели лыжи и пошли в гору.

Такие козырьки часто обваливаются от громкого звука, поэтому, когда они подо-

шли совсем близко, лейтенант хотел стрельнуть.

— Погодите, — сказал старшина, — чего зря патрон тратить.

Он набрал полную грудь воздуха и вдруг крикнул:

— Полундра-а!

Никакого толку — козырёк не дрогнул.

— П-р-ропади ты пропадом! — крикнул старшина.

Козырёк опять не дрогнул. Тогда лейтенант достал пистолет и выстрелил. От выстрела зазвенело в ушах и что-то где-то ухнуло в ущелье, но козырёк так и не шелохнулся.

— Не созрел, — сказал старшина, когда они шли обратно на заставу.

Солнце быстро пробежало по небу, и день кончился.

А вечером поднялся буран.

Ветер выл, разбрасывал снежинки, крепкие, как пули.

На заставе устроили новогодний ужин. Солдаты пили компот из кружек, потому что вина им нельзя — граница за горами. А горы — вот они. Поиграв на баяне и поглядев новогоднюю ёлку, солдаты легли спать. А лейтенант Генералов подозвал старшину и сказал:

— Тревожит меня этот проклятый козырёк. Как бы не рухнул.

— Буранище крепкий, — ответил старшина, — но будем надеяться, всё обойдётся.

Ветер ещё усилился, всё больше наметал снегу.

Козырёк вырос, распух и уже еле держался над обрывом. Вот он медленно наклонился — крррр! — что-то скрипнуло у него внутри. Он прополз немного и вдруг рухнул с горы.

Страшная снежная волна помчалась вниз, сметая и расшибая сугробы.

Лейтенант Генералов хотел лечь спать, когда услышал какой-то шум. Вот стена дрогнула перед его глазами. Дёрнулся пол. Он кинулся к двери, но дверь сама вылетела ему навстречу. В грудь ударило чёрной волной. И эта чёрная волна был снег.

Лавина рухнула на заставу. Снег вышиб окна, ворвался в комнату, где спали солдаты, и забил её до потолка. Новая волна сшибла дом с места, опрокинула набок и совсем завалила его.

Лейтенант Генералов пробовал шевельнуться и не мог. Его сдавило так плотно, будто не снегом, а студёной жёсткой землёй. Он забился в снегу, расталкивая



его локтями, но холодная тяжесть давила на плечи, и не было сил с ней справиться.

«Ну всё, — подумал лейтенант, — не выберусь...»

Он задыхался. Широко раскрыв рот, он пытался вздохнуть и втягивал в себя снежную труху. Она таяла на губах, на щеках. Он ударил в снег кулаком, и рука его встретила пустоту — окно, выбитое снежной волной.

Лейтенанту Генералову повезло. Он протиснулся через окно, попал в полосу рыхлого снега и выбрался на гребень сугроба.

В предутреннем свете глянул вокруг — и не увидел заставы. Ни крыши, ни стен, ни дверей — снег...

Он крикнул, но никто не услышал его.

Он один выбрался из-под обвала.

Ветер выл, затягивал сугроб узлами, нёс льдинки, которые со звоном впивались в лицо.

Лейтенант пробрался обратно через то же окно и уткнулся в снежную стену и стал её разгребать. Руки сразу застыли, сделались вроде деревянные, выструганные из еловой доски, и он разгребал снег словно двумя лопатками.

Он полз и что-то кричал в темноте, но что это были за слова и какой в них за-

ключался смысл, разобрать было невозможно.

Прошёл, наверно, час. Лейтенант пробил в снегу узкую щель и добрался до койки, на которой всегда спал солдат Игорь Соколов. Койка была пуста.

Стало страшно. Показалось, что нету уже никого под снегом, что все люди умерли, рассыпались и превратились в снег.

Вдруг он почувствовал, будто бы шерсть какого-то зверя трогает руками. Будто бы зверь этот спит здесь, в снегу.

Это была ветка новогодней ёлки.

«У-у-у-у-у-у-у!» — послышалось, и он не мог понять: ветер ли воет, человек ли зовёт. И понял, что рядом живой, что это он кричит, а слов не разберёшь и слышен только глухой жуткий звук: «У-у-у-у-у-у-у...».

Старшина Кошкин пробирался навстречу лейтенанту, и они столкнулись лицом к лицу в темноте.

Теперь они копали вдвоём и помогли выбраться ещё двум солдатам.

Они нашли фонарь и нашли автоматы и вчетвером уже крушили снег.

Через два часа они откопали всех. Только солдата Соколова нигде не было. Они копали ещё час и нашли Соколова.

А к утру буран поутих. Выбравшись наружу, пограничники увидели, что все

постройки на заставе занесены снегом, только радиоантенна торчит, будто метёлочка.

Увязая в снегу, они стали спускаться с горы на соседнюю заставу и поочерёдно несли на руках Игоря Соколова.

Когда наступила весна и снег начал таять, старшина отправился на заставу. С ним пошёл Игорь Соколов. Они долго бродили, разбрасывали снег, разыскивая вещи, заваленные лавиной. Вдруг старшина услышал какой-то странный звук.

— Слышишь что-нибудь, Соколов?

— Слышу, кто-то слабо хрюкает!

— Слабо хрюкает?

— Слабовато!

— А ну давай лопату!

Они копнули два раза и выкопали... живую свинью!

Три месяца прожила она под снегом — и хоть бы что. Тощая была — смотреть жалко. Всю землю под заставой разрыла, корешки искала, этим и жива была.

Когда об этом узнали на соседних заставках, стали в гости ходить, на свинью глядеть. А пограничники её вы́ходили, давали ей по картошине и прозвали Снежной королевой.

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

Особое задание?

Да что же это за особое задание такое?

Наверно, задание как задание, а особым называется только для красоты. Чего в нём такого особого, в задании-то в этом? Уж наверное, ничего.

Так или иначе, а только однажды вечером...

Глава первая, *в которой появляется Галоша*

А только однажды вечером я очутился высоко в горах, на пограничной заставе. Конечно, я приехал сюда не просто так. У меня было задание написать рассказ про пограничников. Но только в этом задании ничего особого нет. Вот я пишу рассказ — что ж тут особого?

И вот я приехал на пограничную заставу. Голые горные вершины окружали меня, а на склоне горы, среди корявых красных камней, стояло несколько домиков.

Это и была застава.

Меня встретил начальник заставы — капитан Воронцов и отвёл в один из домиков, чтоб я мог отдохнуть и побриться с дороги.

— Отдыхайте и брейтесь, — сказал капитан. — Я скоро приду.

Я стал отдыхать и бриться, и, наверное, прошёл целый час, а капитан не возвращался.

Вдруг в дверь кто-то постучал.

— Кто там? — спросил я.

— Мне неудобно, — послышалось за дверью.

— Как — неудобно? — удивился я.

— Мне неудобно из-за двери фамилию называть, — сказали из-за двери.

Я глянул в зеркало и увидел свою совершенно обалдевшую от таких ответов физиономию.

Дверь между тем скрипнула, и как-то особенно скрипнула, даже вроде фыркнула — фррррр! — и в комнату вошёл солдат. На голове у него был поварской колпак.

— Здравствуйте, — сказал он. — Моя фамилия Галоша.

Он вдруг снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Гмм... — сказал я. — Как же пишется ваша фамилия: Галоша или Калоша?

— Галоша, — сказал Галоша.

— Очень приятно.

— Я слышал, что вы пишете рассказ о пограничниках?

— Пишу.

— Так я расскажу вам одну историю, а вы пишете рассказ.

Эти слова меня здорово удивили.

Я повнимательней поглядел на Галошу и увидел, что лицо у него самое обычное: нос, брови, глаза. Да, но при чём же здесь рассказ?

— При чём здесь рассказ? — спросил я. — О чём рассказ?

— Дело в том, что я повар, — быстро сказал Галоша. — Понимаете?

Он снял колпак и покрутил его в руках. Я заглянул внутрь колпака.

Там, понятно, ничего не было. Я собрался с мыслями и сказал:

— Закуривайте, товарищ Галоша.

— Что вы! Что вы! — крикнул Галоша. — Потап унюхает!!!

— Какой Потап? — удивился я. — Какой такой Потап? Что вы ваньку валяете?

— При чём здесь Ванька? — удивился теперь Галоша. — Ванька домой уехал!

Я уже ничего не понимал и глядел на Галошу, как сыч на сову. Тогда Галоша подбросил вверх свой колпак, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Итак... — сказал Галоша.

Глава вторая,
в которой Галоша исчезает

— Итак, — сказал Галоша, — всю жизнь я мечтал быть поваром. Мне хотелось готовить супы, салаты, фрикадельки и морковные соусы. Не подумайте, что я обжора. Это — моё искусство. Вы сочиняете рассказы, а я сочиняю морковные соусы.

— Понятно, — сказал я. — Понятно. А кто такой Потап?

Галоша не ответил.

— Да... — вздохнул он. — Всю жизнь я мечтал быть поваром, и моя мечта сбылась. Когда я приехал на заставу, всех пограничников построили, и капитан спросил:

«Есть ли среди вас настоящий повар?»

«Есть!» — крикнул я и шагнул вперёд.

Ответ понравился командиру. Он сказал мне:

«Молодец!»

Так я стал поваром на заставе.

Живём мы, сами видите, в горах. Служить здесь трудно, и есть хочется ужасно. Но я варил такие супы! Строил такие котлеты! И все были мной довольны, и я тоже был доволен, потому что сбылась моя мечта.

Был я доволен месяц, был я доволен другой, а потом я перестал быть доволен.

Как-то раз готовлю я суп-пюре из тык-

вы, а сам думаю: «Что же это такое? Все пограничники как пограничники, а я повар. Они медали то и дело получают, а я поварёшкой размахиваю. Повар и повар, да ещё по фамилии Галоша. Обидно».

Вот как-то я дождался, пока капитан пообедаёт, и подошёл к нему:

«Товарищ капитан! Разрешите обратиться!»

И обратился. Так, мол, и так, поваром быть отказываюсь. Желая принести пользу Родине, охраняя государственную границу.

«Голубчик Галоша, — сказал мне капитан, — повар — важная фигура в пограничном деле».

Вот как мне ответил капитан. Что называется, отбрил.

Галоша замолчал и грустно покачал головой. А я посмотрел ему в глаза и увидел в них большую печаль.

— Товарищ Галоша, — спросил я, — а всё-таки, кто такой Потап?

Но не успел я задать этот вопрос, как где-то за окном грохнул выстрел. И Галоша тут же ударил себя по лбу.

— Ах я, растяпа! — крикнул он. — У меня же соус подгорел!!!

Он вылетел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул напоследок:

— Прощай морковный соус!

Глава третья,
в которой Потап никого не признаёт

«Прощай морковный соус»? — удивился я. — Какой морковный соус? Это он меня, что ли, морковным соусом назвал? Ну нет, с Галошей с этим каши не сваришь. Во-первых, не ясно, кто такой Потап, а во-вторых, что это за выстрел, который раздался за окном?»

Я вышел на крыльцо, чтобы узнать, откуда донёсся выстрел.

На улице был уже вечер. Горы потемнели. В небе гуляли тёмные полосы. Во дворе заставы не видно было ни одного пограничника. Только стоял пустой зелёный автомобиль.

«Эк ведь куда меня занесло! — думал я. — Вон там, за этой горой, — чужая земля. Здесь — наша, там — чужая. Удивительно!»

Я присел на ступеньку и задумался, разглядывая вечерние горы. Густые тени лежали уже в ущельях, а скалы, кажется, чуть шевелились в сумерках. Постой-ка, что это на скале? Человек? Или это померещилось?

— Эхе-хе, — услышал вдруг я. — Соус-то мой подгорел.

— Галоша! Это вы?

— Так точно.

Галоша присел рядом на ступеньку, а я всё разглядывал скалы, но не видел там никакого человека. Померещилось, значит.

— Закуривайте, — сказал я Галоше.

— Не могу, не могу, — сказал Галоша. — Потап унюхает!

— Тьфу ты! Совсем забыл про вашего Потапа.

Галоша помолчал немного, а потом снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Ну вот, — сказал Галоша. — На границу командир меня не пустил, и я оставался по-прежнему поваром. И вдруг мне подвезло! Да! Мне подвезло, потому что уехал домой Ваня Фролов. Он уехал домой, а Потап остался беспризорным. Фролов-то был инструктор службы собак, а Потап — это наш лучший пёс!

— Ну наконец-то! — сказал я. — А я-то думаю: кто такой Потап?

— Лучший пёс! И какой пёс! Грудь — колесом. Уши — столбом. Голова — булыжник, а на зубы смотреть страшно. А лапы! Мне бы такие лапы — я бы двухпудовые гири выжимал. Такому псу палец в рот не клади — мигом оттяпает!

Потап остался беспризорным, и подойти к нему никто не может — всех перекусал!

Подавай ему Фролова, а больше никого не признаёт.

Вот я слышу, командир говорит:

«Что делать с Потапом? Не ест, не пьёт и кусается. Пропадает пёс!»

Тут мне что-то в голову ударило.

«Как, — думаю, — пропадает? А я, Галоша, на что?»

— Ага! — прервал я рассказ повара. — Вот что, товарищ Галоша, давайте-ка пойдём в комнату. Что это мы на крыльце застряли? Слушать так слушать.

Глава четвёртая,

в которой имеются сосиски

— Слушать так слушать, — сказал я, когда мы с Галошей вошли в комнату и сели у стола.

Галоша вздохнул, поглядел на часы и продолжал:

— Решил я с Потапом с этим подружиться. Человек я особый, пахну вкусно, и собакам это нравится.

Вот я положил в нагрудный карман две сосиски и пошёл к Потапу. Он жил в отдельном закутке в собачьем сарае. Прихожу и вижу: Потап лежит на полу скучный, только хвостом по полу похлопывает.

«Привет!» — говорю.

Но Потап даже глаз не открывает. А хвостом хлопать перестал.

Тогда я достаю из кармана одну сосиску — Потап открывает один глаз. Достаю другую — открывает другой. Спрятал я сосиски — Потап глаза закрыл. Достал — снова открыл.

«Ну, — думаю, — всё, голубчик! Попался!»

Вот я говорю Потапу:

«Ты да я — нас двое. И сосиски две. Поделим по-братски».

С этими словами я стал свою сосиску есть, а другую в руке держу. Только один раз я откусил, и Потап облизнулся. А я нарочно медленно ем и так кусаю сосиску, что из неё сок брызжет.

«Ну и сосисочка! Какая сочная!» — говорю.

Пока я свою сосиску жевал, Потап совсем очумел — до того ему захотелось попробовать. Доел я сосиску, а вторую ему всучил — он её и проглотил!

«Ты да я, — говорю, — Потап, — нас двое. И две сосиски было. И съели мы их по-братски. Ты это, — говорю, — пойми!»

Тут я ушёл, а через час снова две сосиски принёс и ещё гитару.

Потап очень удивился, когда увидел гитару. Смотрит на меня и как бы хочет ска-

зять: «Зачем ты гитару-то притащил? Мне и сосисок хватит».

А я сыграл ему на гитаре, угостил сосиской, и, конечно, Потап сделался моим приятелем.

Через несколько дней он ко мне совсем привык, и я вышел с ним погулять.

Вот мы гуляем во дворе заставы, а на встречу нам идёт рядовой Юра Молоканов. Увидел нас и рот открыл от изумления. А я говорю:

«Закройте поскорее рот, товарищ Юра Молоканов, а то ворона влетит!»

Глава пятая,

в которой Галоша идёт в секрет

— Закройте поскорее рот, товарищ Юра, — толкую я. — А то, мол, ворона влетит!

А Юра Молоканов стоит и только глаза на нас таращит.

Но вот он всё-таки закрыл рот и побежал докладывать командиру.

Время сапогами, командир выскочил на крыльцо и видит: да, мы с Потапом гуляем во дворе.

«Ну молодец!» — говорит тут командир и в тот же день отправляет меня с Потапом охранять границу — в секрет!

С нами пошёл старшина Кошкин, слышали небось.

Волновался я ужасно: всё-таки первый раз шёл в секрет. А Кошкин увидел, что я волнуюсь, и говорит:

«Золотой мой Галоша, а не хотите ли вы поймать нарушителя?»

«Конечно, хочу».

«Держите карман шире», — говорит старшина Кошкин.

Вот пришли мы на место и замаскировались в кустах на краю большой поляны. Посреди поляны — озеро. За озером — граница. Рядом со мной — пенёк, за пенёком — Потап, в пенёке — телефон. Правда-правда! Там такая штучка имеется в пенёке, вроде как штепсель. Сунешь в неё провод от телефонной трубки — и с дежурным по заставе поговорить можно.

Замаскировались мы и лежим. Лежим час, лежим другой... Тишина. Никто не идёт через границу.

Глава шестая,

в которой появляется халат

— Никто не идёт через границу. Тишина...

А мы лежим в кустах. Так вот, я лежу, рядом — Потап. Чуть подальше — Кош-

кин с автоматом. Зорко следит Кошкин: не идёт ли кто через границу? И я тоже смотрю, и Потап смотрит. Нет, никто не идёт.

На третьем часу у меня уже глаза устали. Одно и то же перед глазами: поляна, озеро, осока...

Осока?

Осока-то шевелится!

Не от ветра ли?

Нет, не от ветра — ветер не дует!

Смотрите-ка, по берегу человек ползёт!

В маскировочном халате!

А халат в серых, зелёных и коричневых пятнах, вот его и не видно!

Тут лоб у меня вспотел, а ноги похолодели. А он ползёт прямо на меня!

«Ну, — думаю, — ползи, халат! Ползи!»

Скоро он совсем близко к нам подполз. Я уже слышу, как он дышит.

Что делать?

Чувствую: нужно что-то крикнуть, а что крикнуть, не знаю. Забыл.

Вот он подползает так близко, что до него доплунуть можно, я и говорю тогда:

«Попался, голубчик!»

И так хрипло это у меня получилось, как будто в горле была ржавая труба.

Ух, как он напугался! На колени встал и глаза выпучил, а меня не видит. И тут Потап выходит из кустов.

«Шарик, — говорит он Потапу, — это я, Рудик!»

А Кошкин кричит:

«Руки вверх!»

А он руки вверх не поднял, а стал ими по карманам шарить — пистолет искать, но тут Потап навалился на него и мигом обработал. И мы с Кошкиным подбежали, связали голубка.

«Пустите, — говорит он, — я ведь просто так».

«Ничего себе „просто так“, — думаю. — А зачем халат напялил и два пистолета в карман положил?»

Подошёл я к пеньку, звоню командиру — так, мол, и так.

«Высылаю наряд, — говорит он. — Наблюдают границу».

«Слушаюсь!»

Снова мы с Кошкиным замаскировались, а этого нарушителя — в кустики. Он и не пикнул.

И только мы успели всё это проделать, смотрю — другой ползёт!

— Бросьте! — не выдержал я. — Не может быть!

— Чтоб меня громом разразило! Точно! Второй ползёт, и тоже в халате!

«Ну, — думаю, — попёрло-то!»

Вот он подползает, и Кошкин кричит:

«Стой!» А я Потапа выпускаю. У-у, Потап! Страшный пёс! Вскочил ему на спину, пасть разинул — ужас! Мы с Кошкиным подскочили и только успели этого связать...

— Третий ползёт? — не выдержал я.

— Нет, — сказал Галоша и посмотрел для чего-то на часы. — Третьего не было.

— Жаль, — сказал я. — Хорошо бы, если б был третий.

— А вы придумайте, — сказал Галоша. — Когда будете рассказ писать, вы придумайте, что был третий, и дело с концом.

— Посмотрим, посмотрим... — сказал я. — Придумать можно всё что угодно.

Глава седьмая,
*в которой Галоша становится красным
как рак*

— Придумать-то можно всё что угодно, — сказал я. — Интересно, что было на самом деле.

— А вот что, — сказал Галоша. — Не успели мы второго обезоружить — подошел наряд, высланный капитаном.

— И всё?

— Так точно.

— Ну, спасибо вам, товарищ Галоша. Мне очень понравился ваш рассказ. Я сей-

час запишу его в записную книжку. Может быть, вы хотите что-то добавить?

— Да нет, — сказал Галоша и опять посмотрел на часы. — Добавлять особенно нечего.

Тут он снял с головы колпак и подбросил его вверх, и не успел ещё колпак надеться ему на макушку, как дверь открылась, и в комнату вошёл капитан Воронцов.

— Товарищ капитан! Разрешите доло...

— Вольно! — сказал капитан.

Капитан поглядел, что у меня записная книжка, и сказал:

— Собираете материал для рассказа?

— Да вот, — сказал я, — хочу записать кое-что о подвигах товарища Галоши.

— О подвигах? — удивился капитан. — Это о каких же?

— Как — о каких? — удивился теперь я и стал пересказывать капитану то, что слышал.

— Ай-яй! — сказал капитан. — Что это вы, товарищ Галоша, сочиняете?

Галоша сильно покраснел и сказал:

— А что же, товарищ капитан, разве и приврать нельзя?

— Нельзя!

— Слушаюсь!

— Можете идти, — сказал капитан, и Галоша, красный как рак, вышел за дверь.

Глава восьмая,
последняя

Красный как рак Галоша вышел за дверь, а мы с капитаном закурили.

— М-да... — сказал я.

Капитан промолчал.

— Отъявленный врун ваш Галоша.

— Приврать он любит. Зато повар хороший.

— На границе и повар не должен зря болтать. Это никуда не годится.

Капитан Воронцов кашлянул.

— Ладно, — сказал он. — Придётся открыть секрет.

— Что такое? — удивился я. — Какой секрет?

— А вот какой. Сегодня на границе сложилась трудная обстановка. Понимаете? Нам нужно было, чтобы вы посидели пока дома. Вот я и дал товарищу Галоше особое задание — отвлечь вас, рассказать что-нибудь.

— Трудная обстановка? — удивился я. — Что же это за обстановка такая?

— А это секрет, — ответил Воронцов. — Военная тайна. Пойдёмте-ка лучше ужинать.

На улице была уже ночь.

Во дворе заставы на невысоком столбе

горел фонарь. Под его светом несколько пограничников чистили автоматы.

«Трудная обстановка, — думал я. — Значит, и выстрел, который я слышал, был неспроста. И может быть, человек, который померещился мне на скале, был нарушитель!»

— Вообще-то, — сказал капитан, — всё, что рассказал Галоша, было на самом деле с Кошкиным и Молокановым.

— А насчёт сосисок?

— Насчёт каких сосисок? — удивился Воронцов.

— Ну, насчёт Потапа, — объяснил я.

Капитан засмеялся:

— Это тоже правда! Галоша сумел подружиться с Потапом, а потом приучил его работать с Молокановым. Кошкин и Молоканов задержали двух нарушителей.

Мы вошли в столовую. Там, за окошечком в деревянной стене, стоял Галоша. Увидев меня, он снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

— Прощу, — сказал Галоша.

Он поставил на стол несколько тарелок, и мы стали ужинать, а когда поужинали, капитан спросил:

— Ну, как ужин?

— Отличный! — ответил я.

— Выходит, наш Галоша молодец?

— Пожалуй.

После ужина капитан повёл меня в дежурную комнату. Там стояли два пограничника, а рядом сидел огромный пёс. Действительно, замечательный пёс! Я увидел, что грудь у него крепкая, как у волка, и уши — столбом. Это был Потап.

— Приказываю выйти на охрану государственной границы, — сказал капитан Воронцов. — Отправитесь по дозорной тропе на левый фланг нашего участка... Ваша задача: не допустить нарушения границы!

— Есть не допустить нарушения границы! — ответил старшина Кошкин и вышел на улицу.

Следом — Молоканов и собака Потап.

С крыльца я видел, как они прошли перед освещёнными окнами заставы и пропали в темноте.

БЕЛАЯ ЛОШАДЬ

Прошла ночь.

Бледный рассвет поднялся над горой и осветил кругом горы, камни, скатившиеся со склонов, землю. Нашу и чужую.

Плавная тень выскользнула из ущелья и высоко в небе превратилась в слабую точку — неподвижного орла.

Чужая земля — вот она, близко. Такая же земля, как наша: коричневая, потому что наступила уже осень, завяла трава и стебли её высохли.

На самой вершине горы — пограничная вышка. Оттуда далеко видно: и чужую землю видно, и нашу.

Видно, как горы стекают со своих вершин, переходят одна в другую.

Камни вокруг и камни, вялая трава, полосатые пограничные столбы... Пустынно.

Высоко стоит орёл в утреннем небе.

Серо и коричнево по горам. Только в одном месте, на пологом склоне, — зелёная полоса. Там бьёт из земли подкаменный ключ, и трава у ключа ещё не умерла от осенних ночных заморозков, держится, зеленеет до первого снега.

Ключ разливается по земле ручьём, и у ручья, в зелёном квадрате, медленно движется светлое пятно — белая лошадь.

Где-то внизу, в долине, она вырвалась из табуна и помчалась в горы. Вдоль самой границы бредёт лошадь, пасётся.

— Всё тихо, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

— Белая лошадь?

— Белая лошадь.

— Продолжайте наблюдение.

Вправо, влево, по склону, по ущелью, по нашей земле, по чужой ползут толстые стёкла бинокля. В них плывут каменные россыпи, крутобокий валун искривляется в гранях стекла. Близко перед глазами бродит лошадь.

Солнце приплыло к полудню.

Орёл переместился ниже, и видно теперь, что он совершает медленные круги над землёй.

В ущелье, из которого он поднялся утром, что-то мелькнуло.

Медленно-медленно чуть заметные пятна ползут краем расселины, хоронятся за гребнями камней.

В круглых стёклах бинокля они увеличились — волки.

— Волки! — докладывает пограничник с вышки по телефону. — Идут по следу лошади.

Светлое пятно неподвижно в зелёном квадрате. Лошадь стоит у ручья, охваченная внезапным теплом осеннего солнца. Она покачивает головой, мерно покачивает головой в стёклах бинокля.

Волки приближаются к валуну. Он лежит на их пути к лошади.

Видно в бинокль, как первый волк дрогнул и подскочил вверх. Потом упал,

ударил головой в землю. Метнулись в сторону два других волка, и скоро донёсся до пограничника на вышке слабый щелчок — выстрел.

— Старшина Кошкин убил волка, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — два других идут по следу лошади.

Светлое пятно выскользнуло из зелёного квадрата — лошадь мчится по высохшей земле.

Бьёт пена из её ноздрей, комья и камешки рвутся из-под копыт.

Волки ныряют в низинки, выносятся на бугры — чуть заметные точки, сплюснутые пространством.

Мельтешат копыта, бешено мечется грива, и крутые колени, напряжённо согнутые в беге, дрожат в круглых стёклах бинокля. Видно, как вздулись тяжёлые жилы на шее лошади.

Наша земля легко спустилась с горы, пролегла под полосатым столбом и поднялась вдали уже чужой горою.

Пограничник на вышке видит, что лошадь пересекла границу. Волки бегут чуть ли не вровень с лошадыю, но теперь стрелять нельзя — чужая земля.

Это так незаметно. Только пограничный столб, повёрнутый к нам иностранным

гербом, отмечает, что уже и шагнуть дальше нельзя.

Вдали, за столбом, видно селение. Прибитые к земле, сложенные из тёмных камней домики — каменные шалаши. Низкие крыши наплывают одна на другую. Это кочёвка. Летом здесь живут пастухи, а сейчас осень — пусто. Вспыхивает под солнцем у крайнего дома то ли осколок стекла, то ли след слюды на камне...

Голова лошади запрокинута. В ярости и страхе она уже не видит, как прыгнул волк, и не чувствует скользящего удара. Тонкой нитью пересекла бок лошади кровавая полоса. Второй волк прыгнул и сам отлетел, закувыркался под откос.

Пограничник на вышке ведёт бинокль: то внаклон, то вбок пересекаются склоны гор, то вперёд, то назад ломаной линией проходит по ним граница.

То входит чужая земля клином в нашу, то наша — в чужую клином.

Белая лошадь бежит по прямой.

Вот она снова уже на нашей земле.

Видно в бинокль, как растёкся кровавый ручей на её боку.

Из щели между скал блеснуло холодом — волк покатился через голову, а второй закрутился на месте и пополз, пополз в сторону.

Автоматная очередь донеслась до наблюдателя на вышке, легко прошелестела и рассыпалась по склонам гор.

— Наряд Молоканова уничтожил волков, — докладывает пограничник по телефону.

Вскинув голову, мчится лошадь и долго ещё перекачивается мелкой точкой среди гор. Только у ручья в зелёном квадрате останавливается.

Видно в бинокль, как она катается по траве, поворачивается на спину...

Пограничник на вышке поводит бинокль вдоль воображаемой линии, тяжело лежащей на земле, — границы...

Круглые стёкла минуют каменные россыпи, натываются на полосатые столбы. В них вливается чужое селение, пустые горы вокруг.

Солнце доплыло до заката.

Орёл отлетел далеко, и уже только в бинокль видно, как стоит в небе неподвижная точка.

— Всё тихо, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

— Белая лошадь?

— Белая лошадь.

— Продолжайте наблюдение.







ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Солнце пекло уже которую неделю.

Лесная дорога высохла и побелела от пыли.

В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли её густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие сухие лягушки.

Издалека я увидел: в придорожной канаве, в кустах малины, мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.

— Не иголку ли потеряли? — пошутил я, подойдя.

— Топор, батюшка. Вчера попрятала, да забыла, под каким кустом.

Я пошарил в малине. С коричневых мохнатых стеблей и с вялых листьев сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба.

— Вот он! — обрадовалась старушка. — А я-то думаю: не лесовик ли унёс?

— Какой лесовик?

— А в лесу который живёт. Страшный-то эдакий — бычьи бельмищи.

— Ну?

— Борода синяя, — подтвердила старушка, — а по ней пятнышки.

— А вы что, видели лесовика?

— Видела, батюшка, видела. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.

— Откуда ж он деньги берёт?

— Сам делает, — ответила старушка и пошла с дороги. Её платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под ёлками.

«Ну и ну!.. — думал я, шагая дальше. — Что же это за лесовик — бычьи бельмищи?»

Несмотря на солнечный день, темно было под ёлками. Где-нибудь в этой темноте, подальше от дороги, и сидит, наверно, лесовик.

Вдруг лес кончился, и я увидел большое

поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня.

Голубые масляные волны бродили по полю. Это цвёл лён.

Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон.

Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и, уж конечно, не думал, что стану жить здесь, снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика.

ЧИСТЫЙ ДОР

Лесная дорога пошла через поле — стала полевой.

Дошла до деревни — превратилась в деревенскую улицу.

По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепа стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем.

Пока я шёл к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди: что это, мол, за человек идёт?

Я споткнулся и думал, в окошках засмеются, но все оставались строгими за стеклом.

Напившись, я присел на бревно у колодца.

В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты:

— Напился и сидит.

И окно снова закрылось.

Подошли два гусака, хотели загоготать, но не осмелились: что это за человек чужой?

Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную берёзовую жердь.

— Давайте пособию.

— Это ты мне топор-то нашёл?

— Я.

— А я-то думала: не лесовик ли унёс?

Я взял жердь и потащил следом за старушкой.

В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.

— Пантелевна, — сказала голова, — это чей же парень?

— Мой, — ответила Пантелевна. — Он топор нашёл.

Мы прошли ещё немного. Все люди, которые встречались нам, удивлялись: с кем это идёт Пантелевна?

Какая-то женщина крикнула с огорода:



— Да это не племянник ли твой из Олюшина?

— Племянник! — крикнула в ответ Пантелевна. — Он топор мне нашёл.

Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча поспевал за Пантелевной.

Встретилась другая женщина, с девочкой на руках.

— Это кто берёзу-то везёт? — спросила она.

— Племянник мой, — ответила Пантелевна. — Он топор нашёл, а я думала: не лесовик ли унёс?

Так, пока мы шли по деревне, Пантелевна всем говорила, что я её племянник, и рассказывала про топор.

— А теперь он берёзу мне везёт!

— А чего он молчит? — спросил кто-то.

— Как так — молчу? — сказал я. — Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унёс, а он в малине лежал. А я племянник ей.

— Давай сюда, батюшка племянник. Вот дом наш.

Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и brave, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так дом Пантелевны стоял в конце и был самый маленький, в три

оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подпёрты, блином покрыты.

Я бросил берёзу на землю и присел на лавочку перед домом.

— Как называется ваша деревня? — спросил я.

— Чистый Дор.

— Чего Чистый?

— Дор.

Дор... Такого слова я раньше не слышал.

— А что это такое — Чистый Дор?

— Это, батюшка, деревня наша, — толковала Пантелевна.

— Понятно, понятно. А что такое «дор»?

— А дор — это вот он весь, дор-то. Всё, что вокруг деревни, — это всё и есть дор.

Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем — лес.

— Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.

— Это и есть дор. Чистый весь, глянька. Это всё дор, а уж там, где ёлочки, — это всё бор.

Так я и понял, что дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдёргивали. Дёргали, дёргали — получился дор.

— Ну ладно, — сказал я, — дор так дор, а мне надо дальше идти.

— Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.

Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.

— Куда ж ты? — говорила Пантелевна и на следующее утро. — Живи-ка тут. Места в избе хватит.

Я подумал-подумал, послал куда надо телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у неё не день и не месяц, а целый год.

Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую.

Эту-то я пишу в Москве.

Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.

СТОЖОК

У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него всё, что надо, — и куры и корова.

— Свиньи вот только нету, — говорил дядя Зуй. — А на что хорошему человеку свинья?

Ещё летом дядя Зуй накопил в лесу травы и сметал стожок сена, но не просто сметал — хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

— Дед, — говорит Нюрка, — ты что ж сено-то из лесу не везёшь? Ай позабыл?

— Какое сено? — удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить.

Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит — стожок его снегом занесён.

Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом — нет лошади: ушла, проклятая!

Побежал вдогонку — догнал, а лошадь не идёт к стогу, упирается.

«С чего бы это она, — думает дядя Зуй, — упирается-то?»

Наконец-таки запряг её дядя Зуй в сани.

— Но-о-о!..

Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места — полозья к земле крепко примёрзли. Пришлось по ним топориком



постучать — сани тронулись, а на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

Дядя Зуи сбоку идёт, на лошадь губами чмокает.

К обеду добрались до дому, дядя Зуи стал распрягать.

— Ты чего, Зуюшко, привёз-то? — кричит ему Пантелевна.

— Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

— А на возу у тебя что?

Глянул дядя Зуи и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то, кривая да мохнатая морда выставилась с воза — медведь!

«Р-ру-у-у!..»

Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схватил в зубы снегу и в лес побежал.

— Стой! — закричал дядя Зуи. — Держи его, Пантелевна.

Рявкнул медведь и пропал в ёлочках.

Стал народ собираться.

Охотники пришли, и я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

Паша-охотник говорит:

— Вон какую берлогу себе придумал — Зуев стожок.

А Пантелевна кричит-пугается:

— Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

— Да-а, — сказал дядя Зуй, — будет теперь сено медвежатиной разить. Его, наверно, и корова-то в рот не возьмёт.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

Солнце повисело в осиновых ветках и пропало за лесом. Закат расплылся в небе.

Низко, в половину берёзы, над просекой пролетел большой ястреб. Он летел бесшумно, совсем не шевеля синими крыльями.

Я стоял на поляне, снега на которой почти не было. Только под высокими деревьями ещё холодели сугробы.

Дрозды-дерябы трещали и голосили на ёлках. Казалось, это еловые шишки трутся друг о друга зазубренными боками.

Я почувствовал странный запах, который шёл с земли. Из старой травы, из прелых листьев торчали какие-то короткие стебли. На них распустились небольшие сиреневые цветочки. Я хотел сорвать несколько, но стебли не поддавались, гнулись в руках и наконец лопнули, переломившись. Они оказались полыми — пустыми внутри.

От цветов пахло так приятно, что даже закружилась голова, но стебли их будто зашевелились в руке. Показалось, они живые и ядовитые.

Стало неприятно, и я отложил цветы на пенёк.

«Свис-с-с-с-с!..» — пронеслись над поляной чирки. Еле заметен в тёмном небе их серебряный след.

Сумрак поднялся с земли, стемнело, и тогда послышался хриплый и ласковый голос за берёзами:

«Хорх... хорх... хорх... хорх...»

Длинноклювая, с косыми крыльями птица вылетела из-за леса и пошла над поляной — «хорх... хорх...», — то ныряя вниз, то вскидываясь, как бабочка.

Вальдшнеп! Вальдшнеп тянет!..

Совсем стемнело, и я пошёл к дому.

Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи.

На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об неё.

Я шёл по полю и вспоминал цветы, оставленные на пенёчке. Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке.

Я не знал, как называются эти цветы.

Потом только узнал — волчье лыко.

ФИОЛЕТОВАЯ ПТИЦА

Как-то в мае, когда снег уже потаял, я сидел на стуле, вынесенном из дому, и чистил ружьё.

Дядя Зуй сидел рядом на чурбаке и заворачивал махорочную самокрутку.

— Видишь ты, какие дела-то... — сказал он. — Куры у меня не ноские.

— Яиц не несут?

— Яйцо в неделю — разве ж это носкость?

Такого слова я вроде не слышал. Чудное — сразу в нём и «нос» и «кость».

Сквозь ружейные стволы я глянул в небо. В них вспыхнули и нанизались одно на другое светлые оранжевые кольца, где-то в конце стволов слились в голубой пятчок — кусок неба.

— Я уж тут новую несущку купил, — толковал дядя Зуй. — У Витьки Белова. У него все куры ноские.

Дочистив ружьё, я пошёл поглядеть на новую несущку.

Три курицы бродили у Зуюшки во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья — необыкновенного фиолетового цвета. Но вела она себя нормально, говорила «ко-ко-ко» и клевала намятую варёную картошку.

— Что это за масть у неё?

— Она белая, — сказал дядя Зуй. — Но, видишь ты, белые куры в каждом дворе, так я её чернилами приметил, чтоб не спутать.

— Гляди, станет она фиолетовые яйца носить.

Тут курица вдруг подошла ко мне и — хлоп! — клюнула в сапог.

— Пошла! — сказал я и махнул ногой.

Курица отскочила, но потом снова подбежала и — хлоп! — клюнула в сапог.

— Цыпа-цыпа, — сказал дядя Зуй, — ты что, холера, делаешь?

Тут я догадался, в чём дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овёс. Потом белил яблони, обкапал сапоги извёсткой. Каждый сапог превратился теперь в глиняный пирог с овсом и с извёсткой.

Фиолетовой несушке так понравились мои сапоги, что, когда я пошёл домой, она двинула следом.

На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она обклевала весь овёс и всю извёстку. Извёстка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была прочнее.



Обклевав сапоги, курица опрокинула банку с червями, накопанными для налимов, и принялась за них.

Тут я не выдержал, выскочил на крыльцо и схватил полено.

Взмахнув чернильными крыльями, она перелетела со страху весь двор и уселась на берёзе.

На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу. Издалека она узнала меня и подбежала, чтоб клюнуть в сапог.

Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна кончилась, грязь на дорогах подсохла.

Как-то я шёл из леса и снова увидел на дороге свою знакомую.

А она-то даже и не поглядела на меня, пошла прочь.

«Что такое?» — подумал я.

Глянул на свои сапоги и увидел — нету сапог. Иду я по траве босиком — лето наступило.

ПОД СОСНАМИ

Апрель превратился в май. Снега в лесу совсем не осталось, а солнце грело и грело. Оно меня совсем разморило после бессонной ночи на глухаринном току.

Я шёл по болоту и время от времени бухался на колени в моховую кочку — собирал прошлогоднюю клюкву.

Перележав зиму под снегом, клюква стала синеватой и сладкой.

За болотом оказался бугор. Здесь росли десятка два сосен.

Я снял куртку, постелил её и прилёг под соснами.

Бугор сплошь был усыпан божьими коровками, как давешние болотные кочки клюквой. Мне это понравилось, но скоро я понял, что клюква лучше божьих коровок хотя бы потому, что она не двигается.

Напрасно я просил их улететь на небо и принести хлеба — божьи коровки ползали по лицу, забирались в волосы и за пазуху. Вначале я сощёлкивал их, а потом плюнул и, перевернувшись на спину, стал глядеть вверх.

Сосны уходили в небо.

Казалось, они растут прямо из меня, из моей груди.

Божьи коровки взлетали, и тогда было видно, как закручивается между стволов кирпичная и прозрачная точка.

Вверху дунул ветер. Сосна уронила шишку.

Шишка гулко ударилась о землю.

Я прикрыл глаза и задремал. Было слышно, как шумят сосновые ветки и далеко бубнят-бормочут тетерева.

Послышался приглушённый звук трубы.

«Лось, что ли? — подумал я. — Да нет, гон у лосей осенью».

Труба была еле слышна, но играла отчётливо, с переливами.

Звук её был медный, не лесной. Лось не умеет так трубить. У него голос — стон, глухой, хриплый, а этот будто неживой.

Очень тихо, незаметно за первой трубой вступила вторая. Её голос был ниже. Он помогал, подпевал первой.

«Что это за трубы? — думал я. — Не лось это и не журавель».

Солнце припекало, и я дремал, а потом и вовсе заснул и во сне уже сообразил, что звуки эти доносятся из земли, из бугра. А бугор похож на огромный кривой барабан. Он ухаёт и глухо гудит, а совсем-совсем глубоко в земле слышатся переливы, как будто кто-то перебирает струны.

Мне снилось, что сосны — это и есть медные музыкальные трубы, только корявые, обросшие ветками. Они трубят, медленно раскачиваясь надо мною.

Когда я проснулся, солнце опускалось. Ни звуков трубы, ни струнных переборов не было теперь слышно. Только на нижних ветках сосны бил зяблик.

Я приложил ухо к сосновому стволу: слышался шум, далёкий, как в морской раковине.

Спустившись с бугра, я пошёл к дому, а сам всё думал, что же это за звуки доносились из земли. Может быть, в бугре был подземный ручей — играл, захлёбывался весенней водой?

В тот день я добрался к дому под вечер, сразу пошёл в баню и, конечно, думать забыл о звуках, которые доносились из бугра.

Я бы и не вспомнил о них, если б не услышал вот какую историю.

Во время войны здесь, неподалёку от Чистого Дора, был бой.

Наши солдаты шли через лес и через болота, а немцы обстреливали их из миномётов. Вместе со всеми шёл солдатский духовой оркестр.

Перед боем музыканты спрятали свои инструменты. На каком-то бугре среди леса они закопали в землю трубы и валтёрны, флейты, барабаны и медные тарелки. Чтоб не достались врагу.

Оркестр не достался врагу, но многие солдаты погибли в бою, а те, что остались живы, не смогли потом разыскать в лесу этот бугор.

А я-то теперь думаю, что как раз спал на том самом месте.

ОКОЛО ВОЙНЫ

До Чистого Дора немец не дошёл.

Но был он близко.

За лесом слышался рёв орудий и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а между вспышками сновали маленькие крестообразные самолёты.

Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые. Мужчины были на фронте, женщины эвакуировались.

Только в одном доме жили люди: тётка Ксения с двумя детьми и Пантелевна. Они собрались жить вместе, чтобы не было так страшно.

Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось: немец подкрадывается, таясь за деревьями.

Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул:

— Открывай, что ли!

Женщины не стали открывать.

— Открывай! — снова крикнул человек с крыльца. — Я ведь замёрз.

Тётка Ксения подошла к двери и спросила:

— Кто?

Это был Мохов-безрукий из соседней деревни, из Олюшина. Его не взяли на фронт.

— Что ж вы свечку не зажгёте? — сказал Мохов, входя в избу. — Темень у вас.

— Нету свечки, — сказала Пантелевна, — садись вот на сундук.

— Мохов, — сказала тётка Ксения, — ты к нам жить перебирайся, страшно без мужика.

— Куда я из дому? У меня там тоже бабы с детьми. Вы к нам перебирайтесь.

— Нет, — сказала Ксения, — тут наш дом.

Мохов достал из кармана горсть чернослива.

— Красноармейцы дали, — сказал он.

Тётка Ксения повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам каждому в рот по сливине. Они дальше спали и сосали чернослив.

— Вот что, — сказал Мохов, — сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам насыплю картошки. У меня ещё осталась.

Мохов ушёл, а женщины снова глядели в окно до самого свету.

Утром они подняли детей и пошли в Олюшино.

За лесом сегодня не скрежетало и не было слышно взрывов.

— Бой кончился, — сказала тётка Ксения, — только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно бы на нашей.

— А вдруг на его? — сказала Пантелевна.

— Он бы тогда сюда пришёл.

— Может быть, подкрадывается, — сказала Пантелевна.

Они поглядели за деревья, но никого не было видно — только снег лежал.

Просветлело.

Сизые перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса.

И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это.

— Бежим! — сказала Пантелевна.

Ей стало страшно: что это летит по небу?

Тёмный предмет выплывал из-за деревьев. Восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек. Только очень большой.

— Мужик! — крикнула Пантелевна.

А тётка Ксения заплакала и села в снег. Она не могла понять, как летит человек, и плакала, и крепко держала детей.

Огромный человек плыл над лесом.

Огромный, больше деревьев, стоящих под ним.

Он плыл-летел, лёжа на боку и поджав ноги.

Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развевались, и слышно было, как они трещат от ветра, дующего наверху.

Пантелевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а он молча плыл над лесом, над Чистым Дором.



Бежать было некуда, и Пантелевна остановилась.

Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла понять, мёртвый он или живой. И почему он такой большой? И зачем по небу летит?

В шинели его были видны большие дыры. И ещё была видна красная звезда, только не на шапке, а на плече.

— Не бойся! — крикнула Пантелевна, увидев звезду. — Это наш!

Но тётка Ксения боялась поднять голову и поглядела наверх, только когда огромный солдат отплыл в сторону.

— Его, наверно, ранили, — сказала Пантелевна.

Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать.

Он отплывал в сторону, по-прежнему поджав колени и подложив под голову ладонь.

Лицо его было совсем серым.

Солнце поднялось выше, и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понёс его дальше.

Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он ушёл за лес на другой стороне Чистого Дора.

А женщины всё никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал по небу и как его убили. Они пошли дальше по дороге в Олюшино и ждали, что по небу поплывут новые огромные люди. Но небо было пусто.

А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал медленно опускаться и наконец лёг на верхушки ёлок.

Он сделался меньше и постепенно сползал с ёлок на землю.

Какие-то запутанные верёвки протянулись от него по ёлочным верхушкам, куски толстой материи нависли на ветках, ссыпали с них снег.

Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолёт налетел на него, переломил себе крыло и разбился об землю. От удара самолёта аэростат тоже получил пробоину, опустился к земле, выпустив через дырку часть газа.

Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека, и утреннее солнце призрачно осветило его.

Ни тётка Ксения, ни Пантелевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты.

— Как жалко-то его! — сказала Ксения. — Такой был большой, а не уберётся. Снаряд, наверно, в него попал.

— Ему бы затаиться, — сказала Пантелевна, — а он эвон куда — по небу поплыл.

БЕРЕЗОВЫЙ ПИРОЖОК

Братья Моховы с Нюркой пошли в лес по ягоды, а я так пошёл, сам по себе.

И хоть шёл я сам по себе, а они по ягоды — всё равно мы всё время оказывались рядом. Я иду, а сбоку то Нюрка выглянет, то какой-нибудь брат Мохов.

Заверну в сторону, чтоб побыть в тишине, а уж из кустов другой брат Мохов вылезает. Эти братья особенно надоедали — бидонами дрались, валуями кидались или вдруг начинали кричать:

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

Нюрка была потише, но, как дело до свинки доходило, тоже кричала изо всех сил:

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

— Эй! — крикнул я. — Кого вы там подкалываете?

— Свинку! — хором отозвались братья Моховы.

— Какую ещё свинку? Тащите её сюда!

Братья Моховы и Нюрка выскочили из кустов с бидонами в руках, никакой свинки видно не было.

— А свинка где? — строго спросил я.

— Вот, — сказала Нюрка и протянула мне травинку, на которую нанизаны были земляничины.

— Земляника, — сказал я.

— Земляника, — согласилась Нюрка. — Но только — свинка.

Я пригляделся и увидел, что ягоды, нанизанные на стебель, были особенно крупные, особенно спелые, чёрные от густой красноты. Снял ягоду со стебля, положил в рот и понял, что и вкус у неё особенный. У простой земляники — солнечный вкус, а тут — лесной, болотный, сумрачный.

Долго, видно, зрела эта ягода, набиралась солнца и сока, сделалась лучшей из земляничин.

Я нашёл подходящую травинку, выдернул из неё стебель и вместе с ребятами стал собирать ягоды и покрикивать:

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

Скоро травинка моя стала тяжёлой от нанизанных на неё земляничин. Приятно

было нести её, помахивать ею, разглядывать.

К обеду бидоны у ребят были полны, и я подколол свинки травинок пять. Присели отдохнуть. Тут бы и перекусить, а никто из нас не взял в лес ни сухаря, ни лепёшки.

— Надо свинку рубануть! — кричали братья Моховы.

— Что собрали — домой понесём, — сказала Нюрка. — Погодите, я сейчас пирожков напеку.

Она сорвала с берёзовой ветки листок, завернула в него пятёк земляничин и первому, как старшему, протянула мне.

— Что это? — спросил я.

— Берёзовый пирожок. Ешь.

Очень вкусным оказался берёзовый пирожок. Земляничкой от него пахло и солнцем, лесным летом, глухим лесом.

ЛЕСОВИК

Я плыл по Ялме.

Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от Чистого Дора, вместе с речкой углубился в лес.

Вода под лодкой чёрная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают.

Захотелось что-нибудь спеть, просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает! Услышит, как я хорошо пою, — выйдет на берег. Размечтался я и грянул:

Ой, когда мне было лет семнадцать,
Ходил я в Грешнево гулять...

Допел первый куплет и уже хотел за второй взяться — вдруг слышу:

— Ты чего орёшь?

Вот тебе нá! Оказался кто-то на берегу. Только не девушка. Голос грубый, болотный.

Огляделся — не видно никого в берегах. Кусты.

— Чего головой крутишь? Ай не видишь?

— Не вижу чтой-то, дядя.

— А не видишь, так и не видь.

— Эй, дядя, — сказал я, — да ты кустиком пошевели!

Молчит.

Ну, глупое положение!

Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету.

Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло!

Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, чёрный, вода в реке чёрная, и стрекозы над ней чёрные. Какие тут девушки? Какая малина? Ударил я веслом — и ходом к дому, в Чистый Дор, к Пантелевне.

— Ну, батюшка, — сказала Пантелевна, — спасибо, жив остался. Он бы тебя в болото завёл.

— Кто?

— Лесовик! Знаешь, как он Миронихуто водил? «Иди, — говорит, — сюда, девушка, я тебе конфетку дам». А Мирониха по глупости идёт за конфеткой. А он ей в руку впился и в болото тянет. Тут матушка Мирониха помирать начала. Вó ведь как бывает.

Не стал я спорить с Пантелевной, а Мирониху, конечно, знал. Как придёт вечером, обязательно что-нибудь приврёт.

Месяц прошёл с тех пор, и я забыл про лесовика. А как в августе рыжикки-то пошли — вспомнил.

С дядей Зуем отправились мы за рыжиками. Босиком.

Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком — ногами ищут. Вот ведь история! А делается это для того, чтоб найти в траве самый маленький рыжик. Руками шарить — колен-

ки протрёшь. Главная задача — найти такой рыжик, чтоб он в бутылочное горлышко пролезал. Подберёзовики и маслята солят в бочках, а рыжики — только в бутылках. Насолишь на зиму бутылочек двадцать, потом только вытряхивай.

Я-то вначале ходил собирать в сапогах, на месте разувался. А потом плюнул — ходишь как неумный, с сапогами в руках. Стал было ходить в одном сапоге — как никак одна нога рабочая, — но и это бросил: задразнили.

С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много.

Зуюшко ногой строчит, как швейная машина «Зингер», а я осторожно собираю. Еле-еле ногой шарю — боюсь змею собрать.

За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Медленно-медленно высовывается из куста длинная палка. А на конце её приделан острый кривой нож. И вот этот нож тянется ко мне!

Тут у меня сердце зашло. Стою столбом, а нога сама по себе рыжики ищет.

Кусты раздвинулись, и из листьев показался человечек, маленький, ростом с пень. Лесовик! В руках держит палку



с ножом на конце, сам весь корявый, борода серо-синяя, а руки чёрные, как головешки. Смотрит на меня, ножовой палкой покачивает и говорит, как из дупла:

— Рыжики берёшь?

— Ага, — говорю я. — Рыжичков бы нам.

— Нам бы рыжичков, — сбоку говорит дядя Зуй. — В бутылочку.

— В какú такú бутылочку?

— А в поллитровочку, для прелести посола.

— Ага, — говорит лесовик и башкой кивает. — Сей год рыжичков много, прошлый меньше было. А махорки у вас нету ли?

— Есть, — говорит дядя Зуй. — Есть махорка.

Лесовик сел на пень и стал самокрутку крутить. Тут я его как следует разглядел: всё верно, точно такой, как Пантелевна рассказывала, только что-то клыков не видно.

Дядя Зуй подошёл к пню и говорит:

— А вы каким промыслом занимаетесь?

— Живíцу я собираю, — говорит лесовик. — Смолку сосновую. Я насквозь просмоленный, как птица клёст. Руки мои ни

за что не отмоешь, вон и в бороду смола накапала.

Тут мне всё стало ясно. Часто в лесу я видел сосны с насечками на стволах. Эти насечки делаются уголками, одна над другой. Смола перетекает из насечки в насечку, а потом капает в баночку. Смола эта и называется «живица», потому что она рану на стволе дерева заживляет.

Я даже огорчился, что лесовик смоловиком оказался, спрашиваю дальше:

— А это что за палка у вас страшная?

— Это палка-хак. Этой палкой-хаком я делаю насечки на сосне, чтоб живица выступила.

— А сосна не мрёт ли от вашей работы? — спрашивает дядя Зуй.

— Не, — говорит смоловик, — пока не мрёт.

Дали мы смоловику ещё махорки и пошли дальше. А когда уже разошлись, я вспомнил: надо было спросить, не он ли окликал меня, когда я в лодке плыл...

Вечером всю эту историю я рассказал Пантелевне. Так, мол, и так, видел лесовика.

— Э, батюшка, — сказала Пантелевна, — да разве ж это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмищи свои пучит да деньги делает.

ЖЕЛЕЗЯКА

Безоблачной ночью плавает над Чистым Дором луна, отражается в лужах, серебрят крытые щепой крыши. Тихо в деревне.

С рассветом от берега Ялмы раздаются глухие удары, будто колотит кто-то в заросший мохом колокол. За вербами темнеет на берегу кузница — дощатый сарай, древний, закопчённый, обшитый по углам ржавыми листами жести. Отсюда слышны удары.

Рано я выхожу на рыбалку. Темно ещё, темно, и странно выглядит этот сарай в пасмурном ольховнике.

Вдруг открывается дверь, а там — огонь, но не яркий, как пламя костра, а приглушённый. Такого цвета бывает калина, когда её ударит мороз. Огненная дверь кажется пещерой, которая ведёт, может быть, и внутрь земли.

Из неё выскакивает на берег маленький человек. В руках — длинные клещи, а в них зажата раскалённая драконья кость. Он суёт её в воду — раздаётся шипение похлеще кошачьего или гадючьего. Облако пара вырывается из воды.

— Здравствуй, Волошин, — говорю я.

В полдень, возвращаясь домой, я снова прохожу мимо. Вокруг кузницы теперь

полно народу: кто пришёл за гвоздями, кто лошадь подковать.

Внутри пылает горн. Шурка Клеткин, молотобоец, раздувает мехи — выдыхает воздух в горн, на уголья. В самом пекле лежит железная болванка. Она так раскалилась, что не отличишь её от огня.

Длинными клещами Волошин выхватывает её, ставит на наковальню. Шурка бьёт по ней молотом, и болванка сплющивается, а Волошин только поворачивает её под ударами. Шурка Клеткин крепкий малый; плечи у него тяжёлые, как гири. Он — силач, а Волошин — мастер.

— Ну что, парень? — говорит мне Волошин. — На уху наловил ли?

Я вываливаю из сетки язей.

— Будет навар, — хрипло говорит Шурка Клеткин, разглядывая язей. — Во блесвят, ну прямо железяки!

У Шурки всё железяки. Трактор — железяка, ружьё — железяка, котелок — тоже железяка.

Шурка — парень молодой, а голос у него хриплый, как у старого чугунного человека.

На берегу мы чистим язей. Чешуя брызгами разлетается под ножом, блестит в прибрежной траве. Потом Волошин берёт клещами котелок и ставит его в середину горна, на самый жар.

К уже дядя Зуй подоспел. Прикатил в кузницу колесо, старое да ржавое. Где он такое выкопал? Дядя Зуй любит Волошина, таскает ему разные железки. Шурка подошёл, пнул колесо сапогом.

— Барахло, — говорит. — Гнилая железяка.

— Гнилая? — обижается дядя Зуй. — Смотри, какие гаечки. Тут одних гаечек на паровоз хватит.

Волошин помалкивает, прикидывает, сгодится ли на что-нибудь это колесо.

Вот странное дело: никому не была нужна ржавая железяка, а теперь стоит в кузнице и с каждой минутой становится всё более ценной. Теперь это материал для мастера. Неизвестно, что сделает из неё Волошин, но что-нибудь обязательно сделает. И может быть, такую вещь, про которую и Шурка скажет: «Вроде ничего получилась железяка».

— А то сказал: гнилая! — горячится дядя Зуй. — Сам ты, Шурка, вроде железяки! Вон нос какой кривой.

Шурка обиделся, трогает нос пальцами — кривой ли?

Уха готова: кипит, клокочет. Пена выплёскивается из котелка на уголья, и пар от язёвой ухи смешивается с кислым запахом кованого железа.

Волошин достаёт из шкафчика ложки. Всем — деревянные, Шурке — железяку.

Уху все едят внимательно. Задумываются — хороша ли?

Хороша!

ВИШНЯ

Во дворе зоотехника Николая стояла лошадь, привязанная к забору. Здесь же, на заборе, висело снятое с неё седло. Николай и бригадир Фролов стояли рядом.

— Что случилось? — спросил я.

— Да вот, — кивнул Николай, — погляди.

На боку лошади была рваная рана. Сильно текла кровь, капала в крапиву.

— Понимаешь, — стал объяснять мне Фролов, — кто-то проволоку натянул между столбами, колючую. А я на ферму гнал, спешил, не заметил и вот зацепился...

— Надо замечать, — сказал Николай и подобрал ватой стекающую кровь, залил рану йодом.

— Да как же, Коля, — сказал Фролов, — ведь я спешил, не видел проволоки этой.

— Надо было видеть, — сказал Николай.

Я стал шарить по карманам. Мне казалось, что где-то у меня должен был завалиться кусок сахара. И верно, нашёлся кусок сахара, облепленный табаком.

Николай приготовил уже иглу, шёлковую нитку и стал зашивать рану.

— Не могу! — сказал Фролов и отошёл в сторону. — Как по мне шьёт!

— Гонять лошадь он может, — сказал Николай, — а проволоку замечать он не может!

Лошадь, казалось, не чувствовала боли. Она стояла спокойно, но сахар брать с руки не стала.

— Терпи, терпи, — сказал ей Николай. — Сейчас кончу.

Лошадь наклонила голову к крапиве. Она прикрывала глаза и чуть вздрагивала.

— Гонять лошадь он может, — сказал Николай, — а побережь её он не может!

Бригадир Фролов стоял в стороне и курил, отвернувшись.

— Всё, — сказал Николай.

Лошадь поняла это. Она обернулась посмотреть, что там у неё на боку. Тут я всучил ей кусок сахара. Она разгрызла его и стала обнюхивать моё плечо.

Фролов взял под мышку седло, отвязал лошадь и повёл её на конюшню.

Она шла в поводу спокойно, раскачиваясь с каждым шагом. Очень крепкая на вид и даже чуть округлая лошадь. Её звали Вишня.

КОЛОБОК

Я пошёл на рыбалку, а за мною увязался дядя Зуй.

— Ушицы похлебаю с тобой — и ладно, — сказал он.

У ивы, склонившейся над омутом, я закинул удочки, а дядя Зуй сел у меня за спиной — глядеть.

Дело шло к вечеру, и солнце спокойно плыло над лесом. Но потом из-за бугра выкатилась туча, пушистая и разлапистая. Солнце нырнуло в неё, как в чёрное дупло, и небо потемнело.

— Гроза идёт, — сказал дядя Зуй. — Домой надо бы бечь.

Тут у меня клюнуло. Я подсек, и леска запела, натянувшись. Медный язь засиял в глубине, упираясь, вышел на поверхность, плеснул-затрепыхался. Я подвёл его к берегу и выбросил в траву.

Зарница пронеслась по небу, грохнуло над головой, а язь подпрыгнул в траве.

Дождь вдруг ударил по воде сразу всеми каплями и с такой силой, будто сто язей

шлёпнули хвостами о поверхность. Река закипела, зашевелилась, молнии гнулись над нею, а в свете их прыгал в траве пойманый язь.

— Ну и дела! — бубнил дядя Зуй, накрывшись плащом. — Страшно-то как...

Внезапно дождь кончился. И засияло что-то на ветках ивы, и сполз с них, потрескивая, закачался в воздухе сверкающий колобок.

Он покатился к реке и вдруг подпрыгнул.

— Что?! — крикнул дядя Зуй. — Что это?

Колобок повис неподвижно в воздухе и чуть дрожал, колебался. Ослепительный свет его резал глаза, а кругом огненного колобка горела радуга.

Засияло всё: и река, и кусты молочая по берегам, и листья рогоза прорезались из воды, блестящие, как лезвия ножей.

Покачиваясь и кружась, колобок полетел над берегом, и шёл низко над кустами молочая, и взлетал, и стоял высоко, и обрывался белым яблоком, созревшим в небе.

Вдруг померк его свет.

Колобок раздулся и стал огромным чёрным шаром.

В нём вспыхнули лиловые жилы, и грохнул взрыв.



Мы бежали к дому.

Дядя Зуй, насквозь мокрый, еле поспевал за мной.

— Что ж это? — кричал он. — Неуж атомная бомба?

— Шаровая молния.

— Шаровая? Да откуда она взялась?

— Не знаю! — кричал я через плечо. — Иногда во время грозы получают такие шаровые молнии!

— Ага! — кричал дядя Зуй мне вдогонку. — Это, наверно, простая молния в клубок скрутилась! Ну дела!

Мы прибежали домой и сразу скинули мокрые рубахи, поставили самовар.

— Ну и дела! — твердил дядя Зуй. — Простая молния в клубок скрутилась. Чтоб я больше пошёл с тобой на рыбалку — ни за что!

КАРТОФЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ

— Да, что ты ни говори, батюшка, а я картошку люблю. Потому что в картошке смыслу много.

— Да какой там особенный-то смысл? Картошка и картошка.

— Э-э... не говори, батюшка, не говори. Наваришь с полведёрочки — тут и жизнь вроде повеселей становится. Вот такой и смысл... картофельный.

Мы сидели с дядей Зуем на берегу реки у костра и ели печёную картошку. Просто так пошли к реке — поглядеть, как рыбка плавится, да и разложили костёр, картошечки поднакопали, напекли. А соль у дяди Зуя в кармане оказалась.

— А как же без соли-то? Соль, батюшка, я всегда с собой ношу. Придёшь, к примеру, в гости, а у хозяйки суп несолёный. Тут и неловко будет сказать: суп, дескать, у вас несолёный. А я уж тут потихоньку из кармана соль достану и... подсолю.

— А ещё-то ты чего носишь в карма-

нах? И верно — они у тебя всё время оттопыриваются.

— Чего ещё ношу? Всё ношу, что в карманы влезает. Вот гляди — махорка... соль в узелочке... верёвочка, если что надо подвязать, хорошая верёвочка. Ну, ножик, конечно! Фонарик карманный! Недаром сказано — карманный. Есть у тебя карманный фонарик, — значит, и положи его в карман. А это конфеты, если кого из ребят встречу.

— А это что? Хлеб, что ли?

— Сухарь, батюшка. Давно ношу, хочу кому из лошадей отдать, да всё позабываю. Смотрим теперь в другом кармане. Этот у меня карман поглубже. Нарочно так сделан... надставленный. Ну, это, конечно, отвёртка и пассатижи. Пара гвоздей, ещё махорка, мундштук... А вот ещё верёвочка, на случай если та коротка окажется. А это... хэ... ещё одна отвёртка. Откуда ещё-то одна? Ага, всё понял. Я про ту отвёртку забыл, ну и вторую сунул. Хочешь, тебе одну отдам?

— Мне-то на кой отвёртка? Стану я её таскать.

— А вдруг отвернуть чего понадобится?

— Да я тебя позову.

— Ладно, прямо ко мне беги, вместе и отвернём... Смотрим дальше — очки, читательские, а это очки — грибные. В этих

очках я книжки читаю, а этими грибы ищу. Ну вот и всё, пожалуй. Давай теперь ты показывай, что там у тебя в карманах? Интересно.

— Да у меня вроде и нет ничего.

— Да как же так — ничего? Ножик-то, ножик есть небось?

— Забыл я ножик, дома оставил.

— Как же так? На речку идёшь, а ножик дома оставил?

— Я не знал, что мы на речку идём. Так думал: вышли погулять.

— Так ведь и я не знал, что мы на речку идём, а соль-то у меня в кармане оказалась. А без соли и картошка свой смысл теряет. Хотя, пожалуй, в картошке и без соли смыслу много.

Я выгреб из золы новую кривую картофелину. Разломил чёрно-печёные её бока. Белой оказалась картошка под угольной кожурой и розовой. А в сердцевине не пропеклась, захрустела, когда я откусил. Это была сентябрьская, совсем созревшая картошка. Не слишком велика, а ведь в кулак.

Летними дождями пахла непропечённая сердцевина, а корочка коричневая — раскалённой осенней землёй.

— Дай-ка соли-то, — сказал я дяде Зую. — Смысл надо бы подсолить.

Дядя Зуй сунул пальцы в ситцевый узелок, посыпал соли на картофелину.

— Смысл, — сказал он, — подсолить можно. А соль — к смыслу придача.

Далеко, на другом берегу реки, двигались в поле фигурки — заречная деревня копала картошку. Кое-где, поближе к берегу, подымался над ольшаником картофельный дым.

И с нашего берега слышались в поле голоса, подымался дым. Весь мир копал в этот день картошку.

Долго сидели мы с дядей Зуем на берегу, глядели на закат, на дальние леса и размышляли о великом осеннем картофельном смысле.

КЕПКА С КАРАСЯМИ

Километрах в пяти от Чистого Дора, в борах, спряталась деревня Гридино. Она стоит на высоком берегу, как раз над озером, в котором водятся белые караси. В самом большом, в самом крепком доме под красною крышей живёт дядизуев кум.

— Кум у меня золотой! И руки у него золотые, и головушка. Его дядей Ваней зовут. Он пчёл держит. А карасей знаешь как ловит? Мордой!

Дядя Зу́й сидел на корточках, привалясь спиною к печке, подшивал валенки и рассказывал о куме. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои, готовился к зиме. Шило и дратва меня плохо слушались, а Зуюшко уже подшил свои да Нюркины и теперь подшивал мой левый валенок. А я всё возился с правым.

— Морду-то знаешь небось? — продолжал дядя Зу́й.

— Какую морду?

— Какой карасей ловят.

— А, знаю. Это вроде корзины с дыркой, куда караси залазят.

— Во-во! Поставит мой дорогой кум дядя Ваня морду в озеро, а караси — шнырьшнырь! — и залезают в неё. Им интересно поглядеть, чего там внутри, в морде-то. А там нет ничего — только прутики сплетённые. Тут кум дёрг за верёвочку — и вынимает морду. Кум у меня золотой! Видишь этот воск? Это кум подарил.

Воск был чёрный, замусоленный, изрезанный дратвой, но дядя Зу́й глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум — воск подарил!

— Пойдём проведаем кума, — уговаривал меня дядя Зу́й. — Медку поедим, карасей нажарим.

— А что ж, — сказал я, перекусив дратву, — пойдём.

После обеда мы отправились в Гридино. Взяли солёных грибов, да черничного варенья Пантелевна дала банку — гостинцы. Удочки дядя Зуй брать не велел — кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой.

— К ночи вернётесь ли? — провожала нас Пантелевна. — Беречь ли самовар?

— Да что ты! — сердился дядя Зуй. — Разве ж нас кум отпустит! Завтра жди.

Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди ёлок. Дядя Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то отставал.

— У него золотые руки! — кричал дядя Зуй мне в спину. — И золотая голова. Он нас карасями угостит.

Уже под самый вечер, под закат, мы вышли к Гридино.

Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды сбегали в низину, к озеру, яблоньки и огороды. Закат светил нам в спину, и стёкла в окнах кумова дома и старая берёза у крыльца были ослепительные и золотые...

Кум окучивал картошку.

— Кум-батюшка! — окликнул дядя Зуй из-за забора. — Вот и гости к тебе.

— Ага, — сказал кум, оглядываясь.

— Это вот мой друг сердечный, — объяснил дядя Зуй, показывая на меня. — Золотой человек. У Пантелевны живёт, племянник...

— А-а-а... — сказал кум, отставив тляпку.

Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под берёзой. Закурили...

— А это мой кум, Иван Тимофеевич, — горячился дядя Зуй, пока мы закуривали. — Помнишь, я тебе много про него рассказывал. Золотая головушка!

— Помню-помню, — ответил я. — Ты ведь у нас, Зуюшко, тоже золотой человек.

Дядя Зуй сиял, глядел то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три золотых человека.

— Вот мой кум, — говорил он с гордостью. — Дядя Ваня. Он карасей мордой ловит!

— Да, — сказал кум задумчиво. — Дядя Ваня любит карасей мордой ловить.

— Кто? — не понял было я.

— Дак это кум мой дядя Ваня, Иван Тимофеевич! Это он карасей-то мордой ловит.

— А, — понял я. — Понятно. А что, есть караси-то в озере?

— Ну что ж, — отвечал кум с расстановкой. — Караси в озере-то, пожалуй что, и есть.

— А я хозяйство бросил! — кричал дядя Зуй. — Решил кума своего проведать. А дома Нюрку оставил, она ведь совсем большая стала — шесть лет.

— Дядя Ваня любит Нюрку, — сказал кум.

— И Нюрка, — подхватил дядя Зуй, — и Нюрка любит дядю Ваню.

— Ну что ж, — согласился кум, — и Нюрка любит дядю Ваню.

Разговор заглох. Закат спрятался в тёмный лесистый берег, но окна кумова дома ещё улавливали его отсветы и сияли, как праздничные зеркала.

— А у нас ведь и подарки тебе есть, — сказал дядя Зуй, ласково глядя на кума и выставляя на стол подарки.

— И вареньица принесли? — удивился кум, разглядывая подарки.

— И вареньица, — подхватил дядя Зуй. — Черничного.

— Дядя Ваня любит вареньице, — сказал кум. — Черничное.

По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забренчали бóталами — жестяными банками-колокольцами. С луговины поднялась пара козодоев и принялась летать над стадом, подныривать коровам под брюхо, хватая на лету мух и паутов. Из кумова дома вы-

шла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно:

— Ночк, Ночк, Ночк, Ночк, Ночк...

— А что, кум, — спрашивал дядя Зуй, подмигивая мне, — где же у тебя морда-то? Не в озере ли стоит?

— Зачем в озере, — ответил кум. — Дядя Ваня починает морду. Вон она стоит, морда-то, у сарая.

У сарая стояла морда, похожая на огромную бутылку, сплетённую из ивовых прутьев.

— Починяется морда, — с уважением пояснил мне дядя Зуй. — А другая не в озере ли, кум, стоит?

— А другая, наверно что, в озере, — ответил кум, сомневаясь.

— Так не проверить ли? — намекнул дядя Зуй. — Насчёт карасей.

— Зачем же? — сказал кум. — Чего её зря проверять?

Закат окончательно утонул в лесах. Козодои всё летали над лугом, но уже не было их видно, только слышалась однообразная глухая трель.

— Ну, кум, — сказал дядя Зуй, — попробуй, что ли, волвяночек.

— Ну что ж, — вздохнул кум, — это, пожалуй что, и можно.

Он встал и задумчиво отправился в дом.

— Видал? — обрадовался дядя Зуй и снова подмигнул мне: — Начинается. Сейчас медку поедим.

Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку.

— А вот хлеба-то у нас нет, — смутился дядя Зуй, вытряхивая грибы в тарелку. — У нас, извиняюсь, магазин был, кум, закрыт...

— Да ладно, — вставил я. — Волвяночки и так хороши.

Мы попробовали грибочков, похвалили их, покурили. Дядя Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые ещё облака.

— Не пора ли нам? — спросил я.

— Кум, — сказал дядя Зуй, — а ведь нам пора.

— Ну что ж, — сказал кум. — Спасибо, что погостили.

— Это... — сказал дядя Зуй, глядя на озеро. — Вот друг-то мой интересуется карасей поглядеть. Белых. «Золотых, — говорит, — видел, а белых чтой-то не попадалось».

— Ну что ж, — сказал кум. — Это верно, что карасей надо бы поглядеть. Давай кепку-то.

Он взял со стола Зуюшкину кепку и по-

шёл к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десятков полусонных карасей, вывалил их в кепку.

— На́ вот, — сказал он. — Тут и другу твоему поглядеть хватит, и Нюрке отнести, гостинца...

По каменистой тропинке, еле заметной в сумерках, мы спустились вниз, к лесу. Высоко над нами стояла теперь деревня Гридино. В окнах домов мерцали уже слабые огоньки, а высоко поднятый над кумовым домом скворечник ещё был освещён далёким закатом.

А в лесу была уже совсем ночь. Луна то появлялась над лесом, то запрятывалась в еловые ветки.

Дядя Зуй всё время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были ещё живые и шевелились в траве, выскользывали из рук.

— Видал теперь белых-то карасей? — говорил дядя Зуй, снова укладывая их в кепку. — Это тебе не золотые. Золотых-то всюду полно, а белых поискать надо. Вот ведь какие караси! Белые! Прямо как платочек.

Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинаясь за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их.



Собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился:

— А ну их к чёрту!

Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой.

Издали, с края леса, мы увидели огоньки Чистого Дора, и, пока шли полем, я всё старался разглядеть — спит Пантелевна или не спит. Горит ли огонь?

— А ведь Пантелевна, наверно, не спит, — сказал я. — Поджидает.

— Пантелевна-то? — подхватил дядя Зуй. — Конечно, не спит. Она ведь у нас золотая душа. Как раз к самовару поспеем.

НЮРКА

Нюрке дядизуевой было шесть лет.

Долго ей было шесть лет. Целый год.

А как раз в августе стало Нюрке семь лет.

На Нюркин день рождения дядя Зуй напёк калиток — это такие ватрушки с пшённой кашей — и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.

— Купи конфет килограмма два, — говорит Пантелевна. — Подушечек.

— Ну нет, тут надо чего-нибудь по-серьёзнее.

Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак — чувствуется в рюкзаке что-то тяжёлое. Ёлки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Всё в нём цело, и стёкла есть, и окуляры крутятся.

Протёр я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навёл его на дядизуев двор. Хорошо всё видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собирает, дядя Зуй самовар ставит.

— Нюрка, — кричит дядя Зуй, — хрену-то накопила?

Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

— Накопила, — отвечает Нюрка.

Повесил я бинокль на грудь, зашёл в магазин, купил два кило подушечек и пошёл к Нюрке.

Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришёл в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принёс Нюрке пенал из берёсты. Этот пенал дед Мироша сплёл.

Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буквами: «Нюри».

Пришли ещё ребята и взрослые, и все

дарили Нюрке что-нибудь школьное: букварь, линейку, два химических карандаша, самописку.

Тётка Ксения принесла специальное коричневое первоклассное школьное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из жёлтого кожзаменителя.

Братья Моховы принесли два ведра черники.

— Целый день, — говорят, — собирали. Комары жгутся.

Мирониха говорит:

— Это нешкольное.

— Почему же нешкольное? — говорят братья Моховы. — Очень даже школьное.

И тут же сами поднавалились на чернику.

Я говорю Нюрке:

— Ну вот, Нюра, поздравляю тебя! Тебе теперь уже семь лет. Поэтому дарю тебе два кило подушечек и вот — бинокль.

Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

А Мирониха говорит, как будто бинокль первый раз видит:

— Это нешкольное.

— Почему же нешкольное, — обиделся я, — раз в него будет школьница смотреть!

А дядя Зуй говорит:

— Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на звёзды глядеть.

Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

Нюрка была весёлая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

А мы сели у окна и долго пили чай и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки.

Потом гости стали расходиться.

— Ну, спасибо, — говорили они. — Спасибо вам за огурцы и за калитки.

— Вам спасибо, — отвечала Нюрка, — за платье спасибо, за фартук и за бинокль.

Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью: «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у неё висел бинокль.

Шагах в десяти за нею шёл дядя Зуй и кричал:

— Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

— Ну-ну-ну... — кивала Пантелевна. — Какая молодец!

И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас первоклассница.

Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у неё цветы и сказал:

— Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя! А что бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем на крышу и будем на звёзды смотреть.

Дядя Зуй, Пантелевна, тётка Ксения, Мирониха и ещё много народу стояли у школы и глядели, как идёт Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась.

Так и стала Нюрка первоклассницей. Ещё бы, ведь ей семь лет. И долго ещё будет. Целый год.

БУНЬКИНЫ РОГА

Пастуха чистодорского звать Васька Марей. Он ходит в резиновых сапогах, носит на плече сумку, в руках — кнут. Настоящий пастух.

Когда на закате он пригоняет стадо, за ним бегут братья Моховы и кричат:

Васька Марей!
Не корми
Комарей!

— Да как же не кормить-то их? — отвечает Васька. — Они же ведь кусаются.

Хозяйки Марейя уважают.

— Кушай, Васенька, сытней, гляди веселей! — потчует его Пантелевна, когда он обедает у нас.

И Вася налегает на щи с мясом.

А обедает Вася в очередь. Сегодня — у нас, завтра — у Зуюшки, потом — у Миронихи, и пошло, и пошло. Каждый день — в новом доме.

Кормить его стараются как можно лучше, чтоб дело своё знал. Кормят и дело втолковывают:

— Ты уж, Вася, за Ночкой-то моей доглядай как следует.

— Ладно, — кивает Вася. — Не печалься, Пантелевна. Я за твоей Ночкой во как доглядаю!

Часто в лесу я натыкался на стадо, но ни разу не видел, чтоб Вася особенно доглядал. Скотина сама по себе ходит, а Вася спит в бузине — сны доглядает.

— Вась! Вась! Коровы ушли!

— Что? Ах, чёрт! — вскакивает Вася. — Куда-а-а?

Потом видит меня и говорит:

— Ну перешорохал ты меня!.. Давай закуривай.

Перешорохал — значит напугал.

Но однажды Вася крепко перепугался. Из-за быка.

Бык чистодорский очень злой. Глаза наливные, как яблоки. Звать Буня.

Он даже траву-то страшно жрёт. Жамкнет, жамкнет и подымает голову — нет ли кого рядом, чтоб забодать.

Он многих бодал: Туголукова бодал, деда Мирошу. Бригадир Фролова бодал, но не забодал — бригадир в трактор спрятался, в ДТ-75. А Буня в кабинку глядит и широким языком стекло лижет.

На другой день бригадир пошёл к зоотехнику Николаю.

— Что, — говорит, — хочешь делай, надо Буньке рога спилить.

Николаю рога пилить не хотелось.

— У меня такой пилы нет. Надо специальную роговую пилу. Ножовкой их не возьмёшь.

— Подыщи какой-нибудь лобзик, — говорит Фролов. — Что касаето меня или деда Мироши — пускай бодает. Но вот скоро к нам комиссия приедет. Что, как он комиссию забодает? Будешь тогда отвечать.

Гибель комиссии Николая напугала.

— Ладно, — говорит, — найду лобзик.

И на другой день зазвал к себе вечером Ваську Марея. Стал пельменями угощать. Потом говорит:

— Вася, надо рога пилить.

— Какие, — Вася говорит, — рога?

— Бунькины.

Вася пельмени доел и говорит:

— Нет.

— Вася, он комиссию забодает.

— Пускай бодает, — говорит Вася. — Мне комиссии не жалко.

Так Вася и не согласился. Тогда Николай стал Туголукова уговаривать, плотника.

— Ладно, — говорит Туголуков, — я согласен. Я — человек, Бунькой боданный.

Вечером завели Буню в загон с толстой изгородью. Он как вошёл, сразу понял —



дело нечисто. Взревел так, что сразу все собаки отозвались. Задрал Бунька хвост и пошёл по кругу. Разогнался — ударил грудью в изгородь. Изгородь выдержала, а Туголуков на рога верёвку накиннул, прикрутил бычью башку к изгороди. Потом и ноги ему связал — стреножил. Только хвост у Буни свободный остался, и этим-то хвостом он всё-таки съездил Туголукова по уху.

Николай залез на изгородь, достал свой лобзик и вдруг над самым ухом у него — трах! — выстрел. Трах! Трах!

— Слезай с изгороди! Всех перестреляю!

Васька Марей бежит, кнутом стреляет.

— Не дам быка пилить!

— Да что ты, Вася? — говорит Николай. — Рога опасны.

— Ничего-ничего, — говорит Вася, — их можно и стороной обойти.

Так и не дал спилить Буньке рога. И правильно сделал. Хоть и злой бык, зато настоящий. Чистодорский. Уважаемый.

ВЫСТРЕЛ

Школа у нас маленькая.

В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате четыре класса.

В первом — одна ученица, Нюра Зуева.
Во втором — опять один ученик, Федюша Миронов.

В третьем — два брата Моховы.

А в четвёртом никого нет. На будущий год братья Моховы будут.

Всего, значит, в школе сколько? Четыре человека. С учителем Алексей Степанычем — пять.

— Набралось-таки народу, — сказала Нюрка, когда научилась считать.

— Да, народу немало, — ответил Алексей Степаныч. — И завтра после уроков весь этот народ пойдёт на картошку. Того гляди, ударят холода, а картошка у колхоза невыкопанная.

— А как же кролики? — спросил Федюша Миронов.

— Дежурной за кроликами оставим Нюру.

Кроликов в школе было немало. Их было больше ста, а именно — сто четыре.

— Ну, наплодились... — сказала Нюрка на следующий день, когда все ушли на картошку.

Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы, между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчёлы.

Но почему-то казалось, что они жужжат!

Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке.

Дежурить Нюрке было нетрудно.

Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей: мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы.

Потом Нюрка выметала клетки. Кролики пугались веника, пёрхали от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву, в загон, огороженный сеткой.

Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы всё было в порядке.

Нюрка прошлась по школьному двору — всё было в порядке.

Она зашла в чулан и достала сторожевое ружьё.

«На всякий случай, — думала она. — Может быть, ястреб налетит».

Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят.

Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко, на картофельном поле, были видны люди. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.

Нюрка сидела на заборе, когда подошёл Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке.

— Перестань жужжать, — сказала Нюрка.

Витя перестал.

— Видишь это ружьё?

Витя приложил к глазам кулаки, пригляделся, как бы в бинокль, и сказал:

— Вижу, матушка.

— Знаешь, как тут на чего нажимать?

Витя кивнул.

— То-то же, — сказала Нюрка строго, — изучай военное дело!

Она ещё посидела на заборе. Витя стоял неподалёку, желая пожужжать.

— Вот что, — сказала Нюрка. — Садись на крыльцо, сторожи. Если налетит ястреб, кричи изо всех сил, зови меня. А я сбегаяю за ботвой для кроликов.

Витя сел на крыльцо, а Нюрка убрала в чулан ружьё, достала порожний мешок и побежала в поле.

На краю поля лежала картошка — в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы.

Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась: далеко ли ре-

бята? Они были далеко, даже не разоб-
раться, где Федюша Миронов, а где братья
Моховы.

«Добежать, что ль, до них?» — подума-
ла Нюрка.

В этот момент ударил выстрел.

Нюрка мчалась обратно. Страшная кар-
тина представлялась ей: Витя лежит на
крыльце весь убитый.

Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки
на спине, картофелина вылетела из ведра,
хлопнулась в пыль, завертелась, как ма-
ленькая бомба.

Нюрка вбежала на школьный двор и
услышала жужжание. Ружьё лежало на
ступеньках, а Витя сидел и жужжал на
своей палочке. Интересная всё-таки это
была палочка. На конце — сургучная
блямба, на ней пётлею затянут конский
волос, к которому привязана глиняная
чашечка. Витя помахивал палочкой —
конский волос тёрся о сургуч: жжу...

— Кто стрелял? — крикнула Нюрка.

Но даже и нечего было кричать. Ясно
было, кто стрелял, — пороховое облако
ещё висело в бузине.

— Ну погоди! Вернутся братья Моховы!
Будешь знать, как с ружьём баловать!..
Перестань жужжать!

Витя перестал.

— Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?

— По ястребу.

— Ври-ври! Ястреб над птичником кружит.

Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела.

— Он в крапиве лежит.

Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных перьях были видны дырки от дробинок.

Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его. Она подумала: может быть, кто-нибудь из взрослых зашёл на школьный двор. Да нет, все взрослые были на картошке.

Да, видно, ястреб просчитался.

Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И вот теперь — бряк! — валялся в крапиве.

С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба.

— Он будет космонавтом! — кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине.

А Федюша Миронов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал:

— Молодец! Молодец!

— А мне ястреба жалко, — сказала Нюрка.

— Да ты что! Сколько он кроликов потаскал!

— Всё равно жалко. Такой красивый был!

Тут все на Нюрку накинулись.

— А кого тебе больше жалко, — спросил Федюша Миронов, — ястреба или кроликов?

— И тех и других.

— Вот дурёха-то! Кроликов-то жальче! Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька. Чего ж ты молчишь?

Витя сидел на крыльце и молчал.

И вдруг все увидели, что он плачет. Слезы у него текут, и он совсем ещё маленький. От силы ему шесть лет.

— Не реви, Витька! — закричали братья Моховы. — Ну, Нюрка!

— Пускай ревет, — сказала Нюрка. — Убил птицу — пускай ревет.

— Нюрка! Нюрка! Имей совесть! Тебя же поставили сторожить. Сама должна была убить ястреба.

— Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его — он бы улетел.

Нюрка стала растапливать печку, которая стояла в саду. Поставила на неё чугуны с картошкой.

Пока варилась картошка, ребята всё ругались с ней, а Витя плакал.

— Вот что, Нюрка, — под конец сказал Федюша Миронов, — Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал — Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет!

Это были справедливые слова.

Но Нюрка ничего не ответила.

Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.

ВОДА С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ

С рассветом начался очень хороший день. Тёплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.

Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.

День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, тёрлись друг о друга солнечными боками, и лёгкий шелест слышен был на земле.

Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из бо-

лот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то всё кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.

Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течёт из-под холма ключевой ручей.

У ручья я увидел Нюрку.

Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся её портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на берёзке у ручья.

— Закусываешь? — спросил я, сбрасывая с плеч корзину.

— Воду пью, — ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.

— Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.

— Спасибо, не надо, — ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.

— Ты чего невесёлая? — спросил я.

— Так, — ответила Нюрка и пожала плечами.

— Может, двойку получила?

— Получила, — согласилась Нюрка.

— Вот видишь, сразу угадал. А за что?

— Ни за что.

Она снова глотнула воды и закрыла глаза.

— А домой почему не идёшь?

— Не хочу, — ответила Нюрка, не открывая глаз.

— Да съешь ты хлеба-то.

— Спасибо, не хочу.

— Хлеба не хочешь, домой не хочешь.

Что ж, так и не пойдёшь домой?

— Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.

— Из-за двойки?

— Нет, не из-за двойки, ещё кое из-за чего, — сказала Нюрка и открыла наконец глаза.

— Это из-за чего же?

— Есть из-за чего, — сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.

— Ну расскажи.

— Не твоё дело.

— Ну и ладно, — сказал я, обидевшись. — С тобой по-человечески, а ты... Ладно, я тоже тогда лягу и умру.

Я расстелил на траве куртку, улёгся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Ещё бы часок-полтора.

— Тебе-то из-за чего умирать? — спросила Нюрка.

— Есть из-за чего, — ответил я. — Хватает.

— Болтаешь, сам не зная... — сказала Нюрка.

Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжёлые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.

А день кончался. Давно уж миновал полдень, начинался закат.

Облака, подождённые солнцем, уходили за горизонт.

Горела их нижняя часть, а верхняя, охлаждённая первыми звёздами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.

Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.

— Ты бы заплакал, если б я умерла? — спросила вдруг Нюрка.

Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.

— Да ты что, заболела, что ли? — забеспокоился наконец я. — Что с тобой?



— Заплакал бы или нет?

— Конечно, — серьёзно ответил я.

— А мне кажется, никто бы не заплакал.

— Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.

— За что меня любить? Что я такого сделала?

— Ну не знаю... а только все любят.

— За что?

— Откуда я знаю за что. За то, что ты — хороший человек.

— Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.

— А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рёв стоял? — сказал я.

Нюрка засмеялась.

— Это правда, — сказала она. — Рёв был бы жуткий.

— Давай уж поживём ещё немного, а? — предложил я. — А то деревню жалко.

Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.

— Открывай, открывай глаза, — сказал я, — пожалей деревню.

— Так вкусней, — сказала Нюрка.

— Чего вкусней? — не понял я.

— С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь — и ничего не заметишь. А так — куда вкусней. Да ты сам попробуй.

Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.

Вода в ручье была студёной, от неё сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:

— Погоди, не торопись. Глотни ещё.

Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озёр и болот, долгих дождей и летних гроз.

Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, как неподвижно сто-

яла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга.

Я глотнул ещё раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы — времени, когда вода закрывает глаза.

КЛЕЁНКА

Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеёнку.

Продавец Петр Максимыч как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, чего он делает.

— Клеёнку, наверное, меряет, — толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньке. — Он вначале её всю перемеряет, сколько в ней метров-сантиметров, а потом продавать станет... Постой, ты куда, Мирониха, лезешь? Я первый стою.

— Кто первый?! — возмутилась Мирониха, подлезая к самой двери. — Это ты-то первый? А я три часа у магазина стою, все ножки обтоптала! Он первый! Слезай отсюда!

— Чего? — не сдавался дядя Зуй. — Чего ты сказала? Повтори!

— Видали первого? — повторяла Мирониха. — А ну слезай отсюда, первый!

— Ну ладно, пускай я второй! Пускай второй, согласен.

— Что ты, батюшка, — сказала тётка Ксения, — за Миронихой я стою.

— Эх, да что же вы, — огорчился дядя Зуй, — пустите хоть третьим!

Но и третьим его не пускали, пришлось становиться последним, за Колькой Дрождевым.

— Слышь, Колька Дрождев, — спрашивал дядя Зуй, — не видал, какая клеёнка? Чего на ней нарисовано: ягодки или цветочки?

— Может, и ягодки, — задумчиво сказал Колька Дрождев, механизатор, — а я не видал.

— Хорошо бы ягодки. Верно, Коля?

— Это смотря какие ягодки, — мрачно сказал Колька Дрождев. — Если чернички или бруснички — это бы хорошо. А то нарисуют волчию — вот будет ягодка!

— Надо бы с цветочками, — сказала тётка Ксения, — чтоб на столе красота была.

Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеёнка была с цветочками.

— А то бывают клеёнки с грибами, — снова мрачно сказал Колька Дрождев, — да ещё какой гриб нарисуют. Рыжик или

опёнок — это бы хорошо, а то нарисуют валуёв — смотреть противно.

— Я и с валуями возьму, — сказала Мирониха, — на стол стелить нечего.

Наконец дверь магазина загрохотала изнутри — это продавец Пётр Максимыч откладывал внутренние засовы.

А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селёдками. Над нею, как чёрные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блистали банки с заграничными компотами, а на нижних, рядом, стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы.

В магазине пахло клеёнкой. Запах селёдки, макарон и постного масла был начисто заглушён. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской.

Сама клеёнка лежала посреди прилавка, и, хоть свёрнута была в рулон, верхний край всё равно был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.

— Ох какая! — сказала тётка Ксения. — Поднебесного цвета!

А другие женщины примолкли и только толпились у прилавка, глядя на клеёнку. Дядя Зуй дошёл до бочки с селёдками да и остановился, будто боялся подойти к клеёнке.

— Слепит! — сказал он издали. — Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет! Верить или нет?

И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал смотреть на клеёнку в узкую щёлочку между век.

— Кажись, васильки нарисованы, — хрипло сказал Колька Дрождев, — хоть и сорная трава, но голубая.

Да, на клеёнке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на поле, только покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящие. А фон под ними был подложен белоснежный.

— Поднебесная, поднебесная, — заговорили женщины, — какая красавица! Надо покупать!

— Ну, Максимыч, — сказала Мирониха, — отрезай пять метров.

Продавец Пётр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы и почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.

— Пяти метров отрезать не могу, — сказал он, перестав чикать.

— Это почему ж ты не можешь? — завоновалась Мирониха. — Отрезай, говорю!

— Не кричи! — строго сказал Пётр Максимыч, чикнув ножницами на Мирониху. — Клеёнки привезли мало. Я её всю измерил, и получается по полтора метра на каждый дом. Надо, чтоб всем хватило.

Тут же в магазине начался шум, все женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мирониха.

— Отрезай! — наседала она на Петра Максимыча. — Кто первый стоит, тот пускай и берёт сколько хочет.

— Ишь придумала! — говорили другие. — Нарезет себе пять метров, а другим нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем хватило.

— А если у меня стол длинный? — кричала Мирониха. — Мне полтора метра не хватит! Что ж мне, стол отпиливать?

— Можешь отпиливать, — сказал Пётр Максимыч, чикая ножницами.

Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мирониха побежала домой стол мерить. За нею потянулись и другие женщины.

В магазине остались только дядя Зуй да Колька Дрождев.

— Слышь, Колька, а у меня-то стол коротенький, — говорил дядя Зуй. — Нюрка сядет с того конца, я с этого — вот и весь стол. Мне клеёнки хватит, ещё и с напуском будет.

— А у меня стол круглый, — хмуро сказал Колька Дрождев, — а раздвинешь — яйцо получается.

Первой в магазин вернулась Мирониха.

— Режь метр восемьдесят! — бухнула она.

— Не могу, — сказал Пётр Максимыч.

— Да что же это! — закричала Мирониха. — Где я возьму ещё тридцать сантиметров?

— Да ладно тебе, — сказал дядя Зуй, — останется кусочек стола непокрытым, будешь на это место рыбы кости складывать.

— Тебя не спросила! — закричала Мирониха. — Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!

— Ишь ругается! — сказал дядя Зуй добродушно. — Ладно. Максимыч, прирежь ей недостачу из моего куска. Пускай не орёт. Пускай рыбы кости на клеёнку складывает.

Продавец Пётр Максимыч приложил к клеёнке деревянный метр, отмерил сколь-

ко надо, и с треском ножницы впились в клеёнку, разрубая васильки.

— Бери-бери, Мирониха, — говорил дядя Зуй, — пользуйся. Хочешь её мылом мой, хочешь стирай. От этой клеёнки убыли не будет. Ей износу нет. Пользуйся, Мирониха, чашки на неё ставь, супы, самовары ставь. Только смотри будь осторожна с ней, Мирониха. Не погуби клеёнку!

— Тебя не спросила, — сказала Мирониха, взяла кроме клеёнки селёдок и пряников и ушла из магазина.

— Твой кусок, Зуюшко, укоротился, — сказал Пётр Максимыч.

— Ладно, у меня стол маленький... Кто там следующий? Подходи.

— Я, — сказала тётка Ксения, — мне надо метр семьдесят.

— Где ж я тебе возьму метр семьдесят? — спросил Пётр Максимыч.

— Где хочешь, там и бери. А у меня дети малые дома сидят, плачут, клеёнки хочут.

— Пускай плачут! — закричал Пётр Максимыч. — Где я тебе возьму?

Тётка Ксения махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.

— Вот ведь дела, — сказал дядя Зуй, — с клеёнкой с этой! Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостачу, мне небось хватит.

А то клеёнка, дьявол, больно уж хороша, женщине и обидно, что не хватает... Теперь-то довольна, что ль, тётка Ксения, или не довольна? А клеёночка-то какая — прямо искры из глаз! Какая сильная сила цвета. Постелишь её на стол, а на столе — цветочки, ровно лужок... Кто там следующий? Манька Клеткина? А какой у тебя, Манька, будет стол?

— Не знаю, — тихо сказала Манька.

— Так ты что ж, не мерила, что ль?

— Мерила, — сказала Манька ещё тише.

— Ну, и сколько получилось?

— Не знаю. Я верёвочкой мерила.

Манька достала из кармана верёвочку, узлом завязанную на конце.

— Вот, — сказала она, — у меня такой стол, как эта верёвочка.

— Как верёвочке ни виться, — строго сказал Пётр Максимыч, — а концу всё равно быть.

Он приложил деревянный метр, померил Манькину верёвочку и сказал:

— Опять нехватка. Метр семьдесят пять.

— Эх, — махнул рукой дядя Зуй, — прирезай недостачу от моего куска, режь на всю верёвочку. А ты, Манька, горячие кастрюли на клеёнку не ставь, ставь на подложку. Поняла, что ль? Сделай подложку из дощечки.

— Поняла, — тихо сказала Манька, — спасибо, батюшка.

— Или того лучше, Манька. Ты ко мне забеги, я тебе готовую подложку дам... Кто следующий-то там?

Дело в магазине пошло как по маслу. Пётр Максимыч только чикал ножницами, и через десять минут от дядизуевой клеёнки почти ничего не осталось.

Но эти десять минут дядя Зуй не терял даром. Он расхваливал клеёнку, жмурился от силы цвета, сомневался: не заграничная ли она?

— Ну, Зуюшка, — сказал наконец Пётр Максимыч, — у тебя осталось двадцать сантиметров.

— Чтой-то больно мало.

— Так выходит. Двадцать сантиметров тебе, полтора метра Кольке Дрождеву.

— Может, какие-нибудь есть запасы? — намекнул дядя Зуй. — Для близких покупателей?

— Запасов нету, — твёрдо сказал Пётр Максимыч.

— Видишь ты, нету запасов. Ну ладно, давай режь двадцать сантиметров.

— На кой тебе двадцать-то сантиметров? — хрипло сказал Колька Дрождев, механизатор. — Отдай их мне.

— Не могу, Коля. Надо же мне хоть

маленько. А то ещё Нюрка ругаться будет.

— Уж очень мало, — сказал Колька Дрождев. — Двадцать сантиметров — чего из них выйдет?

— Я из них дорожку сделаю, постелю для красоты.

— Какая там дорожка — больно узка. А Нюрке мы конфет возьмём, чего ей ругаться?

— Это верно, — согласился дядя Зуй. — Когда конфеты — чего ругаться? Забирай.

— Если б валуи какие были нарисованы, — толковал Колька Дрождев, — я б нипочём не взял. А это всё ж васильки.

— Верно, Коля, — соглашался дядя Зуй. — Разве ж это валуи? Это ж васильки голубые.

— А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, с опёнками я б ещё взял.

— Ты, Колька, береги клеёнку-то, — наказывал дядя Зуй. — Не грязни её да папиросы горящие не клади, а то прожжёшь, чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеёнку папирос — никакого вида, одни дырки прожжённые. Ты лучше, Колька, вообще курить брось.

— Бросил бы, — ответил Колька, заворачивая клеёнку, — да силы воли не хватает.

К ужину в каждом доме Чистого Дора была расстелена на столах новая клеёнка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стёкла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клеёночный запах — краски и сухого клея.

Конечно, через месяц-другой клеёнка обомнётся. Колька Дрождев прожжёт её в конце концов горящей папиросой, пропадёт особый клеёночный запах, зато вберёт она в себя запах тёплых щей, калиток с творогом и разваренной картошки.

ПО-ЧЁРНОМУ

Та банька, в которой жил с Нюркою дядя Зуй, была, как говорилось, старая. А неподалёку от неё, поближе к реке, стояла в крапиве другая банька — новая.

В старой-то дядя Зуй жил, а в новой — парился.

Иногда мелькала в его голове золотая мысль — переехать жить в новую баньку.

— Но где ж тогда париться? — раздумывал он. — Старая пирогами пропахла, жареной картошкой. В ней париться — дух не тот. Вот когда Нюрка вырастет, — мечтал дядя Зуй дальше, — да выйдет замуж,

я её тогда в новую баньку перевезу, а сам в старой жить останусь.

— А где париться-то будешь? — спрашивал я.

— Третью срублю.

Каждую субботу рано утром подымался от реки к небу огромный столб дыма — это дядя Зуй затапливал свою баньку.

Топилась она по-чёрному. Не было у ней трубы — и дым валил прямо из дверей, а из дыма то и дело выскакивал или выбежал на четвереньках дядя Зуй, прокашливался, вытирал слёзы, хватал полено или ведро с водой и снова нырял в дым и кашлял там внутри, в баньке, ругался с дымом, хрипел и кричал.

Дым подымался столбом, столб разворачивался букетом, сизым банным цветом подкрашивал облака, заволакивал солнце. И солнцу и облакам странно было видеть огромный дым, маленькую баньку и крошечного старика, размахивающего поленом.

Как только баня была готова, дядя Зуй прибегал к нам и кричал:

— Стопилась! Стопилась-выстоялась! Скорее! Скорее! А то жар упустим!

Я выскакивал из дому и бежал к реке, а дядя Зуй подталкивал меня, гнал, торопил:

— Скорее! Скорее! Самый жар упустим!

В предбаннике дядя Зуй стремительно раздевался и тут же начинал стремительно одеваться. Он скидывал обычную одежду, а надевал шапку, шинель и валенки. В шапке, в шинели и в валенках вкатывался он в парилку, чуть не плача:

— Упустили! Упустили самый жар!

Но жар в парилке стоял чудовищный. От раскалённой каменки полыхало сухим и невидимым огнём, который сшибал меня с ног. Я ложился на пол и дышал через веник.

— Холодно, — жаловался дядя Зуй, кутаясь в шинель.

В парилке всегда было темно. Хотя и стоял на улице полный солнечный день, свет его не мог пробиться через оконце. Стена жара не пускала свет, и он рассеивался тут же, у окна.

А в том углу, откуда валил жар, тускло светились раскалённо-красные камни.

Зачерпнув ковшиком из котла, дядя Зуй кидал немного воды на камни — и с треском срывался с камней хрустящий колючий пар, и тут уж я выползал в предбанник.

Постанывая, жалуясь на холод, наконец и дядя Зуй выходил в предбанник, скидывал шинель.

— Давай подышим, — говорил он, и мы высовывали головы из бани на улицу, ды-

шали и глядели на улицы Чистого Дора, а прохожие глядели на нас и кричали:

— Упустили или нет?

— Ещё бы маленько — и упустили, — объяснял дядя Зуй.

Мы парились долго, хлестали друг друга вениками, бегали в речку окунаться, и дядя Зуй рассказывал прохожим, рыбакам и людям, проплывающим на лодке, сколько мы веников исхлестали.

После нас в баню шли Пантелевна с Нюркой, а мы с дядей Зуем пили чай, прямо здесь, у бани, у реки. Из самовара.

Пот лил с меня ручьями и утекал в реку.

Я бывал после бани красный и потный, а дядя Зуй — сухой и коричневый.

А Нюрка выходила из бани свеженькая, как сыроежка.

ПОДСНЕЖНИКИ

Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах — подснежники.

А сейчас не весна — сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега.

— Вон сколько навалило! — сказала утром Пантелевна. — Можно за дровами на санках съездить.

Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо её было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

Но только, хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

Санки были на чердаке — старые, берёзовые. Я достал их, отряхнул сennую труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под ёлками.

Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули верёвкой.

Но-о, поехали!

Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади — глядеть, не падают ли поленья.

Совсем немного выпало снега, а всё сразу изменилось — и лес и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими — зимними людьми. Вон Пантелевна идёт в резиновых сапогах, а кажется — в валенках; седые волосы из-под платка выбились — совсем зимняя старушка.

Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пень-

ки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом — вот тебе нá! Гриб! Моховик летний. Побурела зелёная шапка, лёгкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки — она хрустнула. Замерз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нём замерзли.

Я увидел ещё бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затаптался на месте, стал ещё грибы искать.

— Катись дальше, батюшка! — крикнула сзади Пантелевна.

— Грибы! — крикнул я и, бросив санную верёвку, пошёл к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они почернели, застыв.

— Брось ты эти грибы, — сказала Пантелевна, поглядев на маслята. — Они, верно, нехорошие.

— Почему нехорошие? Они просто замерзли.

Но Пантелевна всё время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у неё переменилось — она стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться — сверху снег, и они совсем позамёрзли.

Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали — поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

— Положим их в суп, — сказал я.

— Да что ты, батюшка! — напугалась она. — Давай бросим их.

Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

— Чем это пахнет? Неуж грибами?

— Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

— Ну-ну-ну!.. — удивилась Мирониха. — Бу-бу-бу... Не стану я такую страмоту есть.

А ей никто и не предлагал.

Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

— Не стану я такую страмоту есть, — бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь. — Ну-ну-ну...



Бу-бу-бу... — бубнила она, налегая на суп. —
Страмота-то какая!

Мы помалкивали. Под конец только Пан-
телевна сказала:

— Добрые люди подосиновики да под-
берёзовики, а мы подснежники варим.

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

Всё лето провалялся в чулане ящик с
красками, паутиной оброс.

Но когда наступила осень — вспыхну-
ла по опушкам рябина, и налился медью

кленовый лист, — я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес.

На опушке остановился, глянул вокруг — и горячими показались гроздья рябин. Красный цвет бил в глаза. А дрозды, перелетавшие в рябинах, тоже казались тяжёлыми, красными.

Так я и стал рисовать: рябины и в них перелетают красные тяжёлые дрозды.

Но рисунок не заладился. Горел-попыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было краснó, будто выступила из земли кровь. А на рисунке всё оставалось бледным и сумрачным.

— Ты что это? — услышал я за спиной. — Никак, сымаешь?

Оглянулся: дядя Зуй идёт опушкой, в руках ведро с опятами.

— Снимают, Зуюшко, из фотоаппарата. А я рисую.

— Какой молодец-то! — сказал дядя Зуй. — Ну сымай, сымай!

Ушёл дядя Зуй, а я дальше стал рисовать, но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали!

«Нет, — думаю, — рисовать не моё дело. Возьму лучше завтра ружьё — и...»

«Ррружжжъё-о-о!..» — крикнул вдруг кто-то у меня над головой.

Я прямо оторопел. Гляжу — на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит:

«Ррружжжье-о-о! Ррружжжье-о-о! Т-р-р...»

Поглядел я, как сойка на рябине сидит, на осенний лес как следует глянул и совсем расстроился.

Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и сгоряча наклеил его на рисунок.

— Ну ладно! Пойду завтра зайцев торопить...

Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал.

Зимним вечером пришёл ко мне дядя Зуй чаю попить.

— Ну и ну... — сказал он, показывая на рисунок, прислонённый к стенке. — Листок-то прямо как живой.

— Он и есть живой — настоящий.

— Ловко, — сказал дядя Зуй. — Последний, значит, от осени остался. А это что?

— А это дрозды, Зуюшко. Красные, тяжёлые.

— Верно, — сказал дядя Зуй. — Тяжёлые-то какие! Рябины, наверно, нажрались.

Выпил дядя Зуй стакан чаю, другой налил и снова на рисунок посмотрел.

— Да, — сказал он, — самый лучший лес — осенний.

— Верно, — сказал я. — Что может быть лучше?

— Ещё бы! Идёшь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?

«Ну что же может быть лучше? — думал я. — Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний...»



листобой







КАПИТАН КЛЮКВИН

На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

Это был клёст-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещённым, как два кривых костяных ножа.

Лапы у него были белые — значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

— Сиделый, сиделый, — уверял меня продавец. — С весны сидит.

А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

Дома я поставил клетку на окно, чтоб клётс мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

Клётс сидел на своей жёрдочке торжественно и гордо, как командир на коне.

Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

Командир соскочил с жёрдочки, взмахнул клювом — семечко разлетелось на две половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль.

Какой удивительный у него клюв — крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя — вверх. Получается что-то вроде буквы «Х». Этой буквой «Х» клётс лихо хватает подсолнух — трах! — шелуха в стороны.

Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв и красный цвет, — клюквя.

Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста — Капитан Клюквин.

...Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

Капитан Клюквин спал беспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

«Цик...» — услышал я.

Потом ещё:

«Цик, цик...»

«Убогая песня, — думал я. — „Цик“ — и всё. Маловато».

Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал цикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он переживал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макарены!..»

Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиуууу-лиууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

Всё утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давлеными кедровыми орехами и коноплёй.

Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зелёный, лесной, моховой.

И характер у Капитана был весёлый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки.

Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв

под каждую чешуйку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрёпанного воробья. Скоро от неё оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузинную жёрдочку — своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук.

Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чём дело, и отвернулся.

Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его.

Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и лёгкое презрение ко мне.

«Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд.

Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клёт мигом разгрыз его.

— А теперь ещё, — сказал я и просунул в клетку новое семечко.

Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом.

Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

Один раз я случайно оставил клетку открытой.

Капитан сразу вылез из неё и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решил лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

Там, под светом рефлектора, раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры — тёмные рыбки, рассечённые золотой полосой.

Подводный мир заморозил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздогнули королевские тетры, а клёст полетел к окну.

Он ударился головой о стекло и, ошеломлённый, упал вниз, на крышу клетки...

В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл Пятый этюд Джульяни.

Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит — вроде ручейка журчит. У меня ручейка не получалось; вернее, тёк он слишком уж медленно, но всё-таки дотекал до заключительного аккорда.

Капитан Клюквин отнёсся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петль и только изредка восхищённо цокал.

Но скоро он перешёл в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось злое циканье Капитана.

Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, принаравливаясь к гитаре.

До этого мне казалось, что клёст поёт бестолково и только мешают, но, прислу-

шавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

Конечно, выглядело всё это не так уж прекрасно — корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносим пением, но я пришёл в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном доме детей железнодорожников.

Теперь ручеек потёк более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда — печальной.

А я по-прежнему «пилил» одно и то же.

Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клёст сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашёл даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от неё крепко пахло смолой.

Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать её от грифа. Однако шишка — хе-хе! — была прикручена проволокой. Пришлось долбить её на месте.

Подождав, пока клёст хорошенько вгрызётся в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

Капитан зарычал на меня.

Отделив гитару от стены, я плавно повлёк её по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

Левая рука моя медленно поползла по грифу, всё ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец.



Раздражённо помахав крыльями, он пошёл пешком по грифу — доколупывать свою шишку.

Ласково взял я первую ноту — задрезжала шишка, а клёт подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

Оканчивался месяц март.

С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

В хорошую погоду я выставлял клетку

на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу.

Синицы увёртывались и хохотали.

Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

Тепло подействовало на Капитана неважно. С кислым видом сидел он на жёрдочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилётом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара — милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли Пятый этюд Джульяни и глядели на

аквариум, как там течёт подводная жизнь в тропиках.

В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

«Что ж, — думал я, — ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

В воскресенье отправились мы в парк.

В тени, окружённый ёлками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме — напрасно разыгрывал я Пятый этюд Джульяни.

«Дела неважные, — думал я. — Придётся, видно, отпустить Капитана».

Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

«Ладно, — решил я, — пусть сам выбирает».

И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых

и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками, повсюду натывал еловых веток.

Капитан Ключвин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

Потом я вынес клетку на балкон, повесил её на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Ключвин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

Капитан Ключвин вышел на порог клетки, вскарабкался на её крышу, клюнул за чем-то железный прут и... полетел.

С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья — и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

Стояли тёплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал Пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Ключвина.

СЕРАЯ НОЧЬ

Стало смеркаться.

Над тайгой, над сумрачными скалами, над речкой с плещущим названием Вёлс взошёл узенький лисий месяц.

К сумеркам поспела уха. Разыскавши в рюкзаках ложки, мы устроились вокруг ведра, выловили куски хариуса и отложили в отдельный котелок, чтоб хариус остывал, пока будем есть уху.

— Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами!

Длинной можжевёловой ложкой я пошарил в глубине ведра — рука по локоть ушла в пар. Выловил со дна картошки и рыбьих потрохов — печёнки, икры, — потом зачерпнул прозрачной юшки с зелёной пеной.

— Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами! — повторил Лёша, запуская ложку в ведро.

— Садитесь с нами, садитесь с нами, Козьма да Демьян! — подтвердили мы.

Но в наших городских голосах не было уверенности, что сядут за уху Козьма да Демьян, а Лёша сказал так, будто они его слышат.

Костёр мы разложили на низком берегу Вёлса. Наш берег весь завален грязными

льдинами. Они остались от половодья: не успели потаять. Вот льдина, похожая на огромное ухо, а вот — на гриб груздь.

— Кто же это такие — Козьма да Демьян? — спросил Пётр Иваныч, который в первый раз попал в уральскую тайгу.

Уху Пётр Иваныч ест осторожно и почтительно. Голова его окутана паром, в очках горят маленькие костры.

— Это меня старые рыбаки научили, — ответил Лёша. — Будто есть такие Козьма да Демьян. Они помогают хариуса поймать. Козьму да Демьяна на уху звать надо, чтоб не обиделись.

По часам уже полночь, а небо не потемнело, осталось ясным, сумеречным, и месяц добавил в него холода и света.

— Это, наверно, белая ночь, — задумчиво сказал Пётр Иваныч.

— Белые ночи начнутся позже, — ответил Лёша. — Они должны быть светлее. Для этой ночи названья нет.

— Может быть, серебряная?

— Какая там серебряная! Серая ночь.

Подстелив на землю лапника, мы разложили спальные мешки, прилегли. Я уткнулся головой в подножие ёлки. Нижние ветки её засохли, на них вырос лишай и свисает к костру, как пакля, как мочало, как белая борода.

Неподалёку, за спиной у меня, что-то зашуршало.

— Серая ночь, — задумчиво повторил Пётр Иваныч.

— Серая она, белая или серебристая, всё равно спать пора.

Что-то снова зашуршало за спиной.

Уха так разморила, что лень повернуться, посмотреть, что это шумит. Я вижу месяц, который висит над тайгой, — молодой, тоненький, пронзительный.

— Бурундук! — вдруг сказал Лёша.

Я оглянулся и сразу увидел, что из-за ёлки на нас смотрят два внимательных ночных глаза.

Бурундук высунул только голову, и глаза его казались очень тёмными и крупными, как ягода гонобобель.

Посмотрев на нас немного, он спрятался. Видно, на него напал ужас: кто это такие сидят у костра?!

Но вот снова высунулась глазастая головка. Легонько свистнув, зверёк выскочил из-за ёлки, пробежал по земле и спрятался за рюкзаком.

— Это не бурундук, — сказал Лёша, — нет на спине полосок.

Зверёк вспрыгнул на рюкзак, запустил лапу в брезентовый карман. Там была верёвка. Зацепив когтем, он потянул её.

— Пошёл! — не выдержал я.

Подпрыгнув к ёлке, он вцепился в ствол и, обрывая когтями кусочки коры, убежал вверх по стволу, в густые ветки.

— Кто же это? — сказал Пётр Иваныч. — Не белка и не бурундук.

— Не знаю, — сказал Лёша. — На соболя не похож, на куницу тоже. Я такого, пожалуй, не видал.

Серая ночь ещё просветлела. Костёр утих, и Лёша поднялся, подбросил в него сушину.

— Зря ты его шуганул, — сказал мне Пётр Иваныч. — Он теперь не вернётся.

Мы смотрели на вершину ёлки. Ни одна ветка не шевелилась. Длинные искры от костра летели к вершине и гасли в светлом сером небе.

Вдруг с вершины сорвался какой-то тёмный комок и раскрылся в воздухе, сделавшись угловатым, четырёхугольным. Перечеркнув небо, он перелетел с ёлки на ёлку, зацепив месяц краешком хвоста.

Тут мы сразу поняли, кто это такой. Это был летяга, зверёк, которого не увидишь днём: он прячется в дуплах, а ночью перелетает над тайгой.

Крылья у него меховые — перепонки между передними и задними лапами.

Летяга сидел на той самой ёлке, что росла надо мной. Вот сверху посыпалась какая-то шелуха, кусочки коры: летяга спускался вниз. Он то выглядывал из-за дерева, то прятался, будто хотел подкрасться незаметно.

Вдруг он выглянул совсем рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Глаза его, тёмные, расширенные, уставились на меня.

— Хотите, схвачу?

От звука голоса дрожь ударила летягу. Он свистнул и спрятался за ёлку, но тут же высунулся.

«Схватит или нет?» — думал, видно, летяга.

Он сидел, сжавшись в комок, и поглядывал на костёр.

Костёр шевелился и потрескивал.

Летяга соскочил на землю и тут заметил большое тёмное дупло. Это был сапог Петра Ивановича, лежащий на земле.

Удивлённо свистнув, летяга нырнул в голенище.

В то же мгновение я кинулся схватить сапог, но летяга выскочил и побежал, побежал по вытянутой руке, по плечу — и прыгнул на пенёк.

Но это был не пенёк. Это было колено Петра Ивановича с крупной круглой чашкой.



С ужасом заглянув в пылающие очки, летяга закашлял, перепрыгнул на ёлку и быстро вскарабкался наверх.

Пётр Иваныч изумлённо ощупывал своё колено.

— Лёгонький какой! — хрипловато сказал он.

Перелетев на другую ёлку, летяга снова спустился вниз. Видно, притягивал его затухавший огонь костра, манил, как лампа летним вечером манит мотылька.

На меня напал сон. Вернее, не сон — волчья дрёма. Я то закрывал глаза и проваливался куда-то под еловый корень, то открывал их и видел тогда бороду лишайника, свисающую с веток, а за нею совсем посветлевшее небо и в нём летягу, перелетающего с вершины на вершину.

С первыми лучами солнца летяга исчез.

Утром, за чаем, я всё приставал к Петру Иванычу, просил подарить мне сапог, в котором побывал летяга. А Лёша сказал, допивая вторую кружку чаю:

— Не Козьма ли да Демьян к нам его подослали?

ЛАБАЗ

Всё лето геологи искали в тайге алмазную трубку. Но не нашли. Трубку пря-

талась от них в каменных россыпях, под корнями деревьев.

Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали собираться домой. Перед отъездом к начальнику партии пришёл завхоз по прозвищу Пахан-Метла.

— Остались продукты, — сказал он. — Сто банок сгущёнки, три пуда муки, мешок компота и ящик масла. Куда всё это девать?

— Надо поставить лабаз, — решил начальник.

А моторист Пронька, который крутился около разговора, сказал:

— Да зачем это надо — лабазы ставить? Давайте рубанём в темпе продукты, и все дела.

— Это интересно, — сказал начальник, — в каком же темпе рубанёшь ты сто банок сгущёнки и три пуда муки?

— В быстром, — не растерялся Пронька.

— Знаешь что, — ответил начальник, — сходи-ка на склад за гвоздями.

Пронька сходил за гвоздями. Пахан-Метла взял топоры да пилу, и за три дня срубили они в тайге лабаз. Неподалёку от речки Чурол.

Лабаз получился вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами.

Он поставлен был на четырёх столбах, а столбы выбраны с таким расчётом, чтоб медведь по ним не мог залезть. По толстому-то столбу медведь сразу залезет в лабаз. А полезет по тонкому — столб задрожит, избушка заскрипит наверху, медведь напугается.

По приставной лестнице наверх подняли продукты и спрятали их в лабаз. Потом лестницу убрали в кусты. А то медведь догадается, возьмёт да сам и приставит лестницу.

Геологи ушли, и лабаз остался стоять в тайге. Посреди вырубленной поляны он стоял, будто избушка на курьих ножках.

Через неделю пришёл к лабазу медведь. Он искал место для берлоги, глядь — лабаз.

Медведь сразу полез наверх, но столб задрожал под ним, зашатался, лабаз наверху страшно заскрипел. Медведь напугался, что лабаз рухнет и придавит его. Он сполз вниз и пошёл дальше. Лестницу он, видно, не нашёл.

Скоро в тайге начались снегопады. На крыше лабаза выросла пышная шапка, а ноги его утонули в снегу по колено. Теперь-то по плотному снегу можно бы добраться до двери лабаза, да медведь уже спал.

Приходила россомаха, но не догадалась, как открыть дверь, полазила по столбам, посидела на крыше под холодным зимним солнцем, ушла.

А в конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дырку и всю весну жевали компот — сушёные яблоки, груши и чернослив.

Весной вернулись геологи. Но теперь искали они алмазную трубку в другом месте, в стороне от Чурола.

— Как там наш лабаз-то? — беспокоился Пахан-Метла.

— Стоит небось, — отвечал ему Пронька.

— Ты сходи-ка проверь. Да принеси сгущёнки, а то ребята просят.

Пронька взял мешок и ружьё и на другой день утром пошёл к лабазу на речку Чуrol. Он шёл и посвистывал в костяной пищик — дразнил весенних рябчиков.

«Странная это штука, — думал Пронька, — алмазная трубка. Может быть, как раз сейчас она под ногами, а я и не знаю».

Пронька глядел на ёлки — нету ли рябчиков, и под ноги поглядывал — не мелькнёт ли среди камушков какой-нибудь алмаз.

И вдруг — точно! Блеснуло что-то на тропе.

Пронька мигом нагнулся и поднял с земли курительный мундштук из чёрной кости с медным ободком.

«Во везёт! — подумал он. — Геологи трубку ищут, а я мундштук нашёл!»

Он сунул мундштук в карман, прошёл ещё немного и увидел на тропе нарты, запряжённые тремя оленями. На нартах сидел человек в резиновых сапогах и в оленьей шубе, расшитой узорами. Это был оленевод Коля, по национальности манси. Он жил с оленями в горах, но иногда заезжал к геологам.

— Здравствуй, Коля-манси, — сказал Пронька.

— Здравствуй, Прокопий.

— Твой мундштук?

Коля задумчиво поглядел на мундштук и кивнул. Пронька отдал мундштук, и Коля сразу сунул его в рот.

— Вот я думаю, — сказал Пронька, — далеко отсюда будет до Чурола?

Коля-манси задумался. Он долго молчал, и Пронька стоял, ожидая, когда Коля ответит.

— Хороший олень, — сказал наконец Коля, — три километра. Плохой олень — пять километров.

— Давай-ка подвези, — сказал Пронька и лёг на нарты, на расстеленную оленью шкуру.

Коля взял в руки длинный шест — хорей, взмахнул, и олени тронули. Видно, олени были хороши, бежали шибко, нарты скользили по весенней грязи легко, будто по снегу.

Быстро добрались они до Чурола, и Коля отложил хорей.

— Надо остановку делать, — сказал он. — Чай надо пить. У оленя голова болит.

— А чего она болит-то? — не понял Пронька.

Коля подумал, пососал маленько свой мундштук и сказал:

— Рога растут.

Из мешка, стоящего в нартах, Пронька взял пригоршню соли и пошёл к оленям. Они сразу заволновались, вытянули головы, стараясь разглядеть, что там у Проньки в кулаке.

— Мяк-мяк-мяк... — сказал Пронька, протягивая руку.

Отталкивая друг друга, олени стали слизывать с ладони соль. Они были ещё безроги и по-зимнему белоснежны. Только у вожака появились молодые весенние рога. Они обросли мягкой коричневой шерстью, похожей на мох.

«Не у него ли голова болит?» — подумал Пронька.

Он поглядел оленю в глаза. Большие и спокойные глаза у оленя были такого цвета, как крепко заваренный чай.

Они пили чай долго и вдумчиво. Коля молчал и только кивал иногда на оленей, приставлял палец ко лбу.

— Рога растут! — серьёзно говорил он.

— Дело важное, — соглашался Пронька. — Сейчас весна — всё кругом растёт.

Напившись чаю, они посидели немного на камушке, послушали, как бурлит Чурол.

— Теперь у оленя голова не болит, — сказал Коля.

— Конечно, — согласился Пронька. — Теперь ему полегче.

Коля сел в нарты, взмахнул шестом своим, хореем, — олени побежали по весенней тропе. Пронька помахал ему рукой и пошёл к лабазу.

Чурол ворчал ему вслед, ворочался в каменном русле, перекатывая круглые голыши.

«Ишь разошёлся! — думал Пронька. — Ворочается, как медведь в берлоге».

Не спеша углубился Пронька в тайгу,

и шум Чурола стал затихать, только иногда откуда-то сверху долетало его ворчание.

Из-за кустов увидел Пронька свой лабаз, и тут в груди его стало холодно, а в голове — горячо. На корявых еловых ногах высился лабаз над поляной, а под ним стоял горбатый бурый медведь. Передними лапами он держался за столб.

Ничего не соображая, Пронька скинул с плеча ружьё и прицелился в круглую булыжную башку. Хотел уже нажать курок, но подумал: «А вдруг промажу?»

Пронька вспотел, и из глаз его потекли слёзы: он никогда не видел медведя так близко.

Медведь зарычал сильнее и потрянул столб лапой. Лабаз заскрипел. В раскрытой его двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собою стал вылезать мешок муки.

«Мешок ползёт!» — ошеломлённо думал Пронька.

Мешок перевалился через порожек лабаза и тяжело шмякнулся вниз.

Когтем продрал медведь в мешке дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову, подхватывая её языком. Вмиг голова бурая окуталась мучной пылью и стала похожа на огромный одуванчик, из которого выглядывали красные глазки и высовывался ржавый язык.

«Карх...» — кашлянул медведь, сплюнул и отбросил мешок в сторону. Распустив пыльный хвост, мешок отлетел в кусты.

Пронька осторожненько шагнул назад.

А наверху в лабазе по-прежнему что-то шевелилось и хрустело. Из двери высунулась вдруг какая-то кривая рука в лохматой варежке и кинула вниз банку сгущёнки.

Медведь подхватил банку, поднял её над головой и крепко сдавил. Жестяная банка лопнула. Из неё сладким медленным языком потекло сгущённое молоко.

Медведь шумно облизнулся, зачмокал.

«Кто же это наверху-то сидит?» — думал Пронька.

Сверху вылетели ещё две банки, а потом из двери лабазы выглянула какая-то небольшая рожа, совершенно измазанная в сливочном масле. Облизываясь, уставилась она вниз.

«Медвежонок! — понял Пронька. — А это внизу — мамаша».

Медвежонок тем временем спустился вниз и тоже схватил банку сгущёнки. Он сжал её лапами, но, как ни пыжился, не мог раздавить. Заворчав, медведица отняла банку, раздавила и лизнула разок. Потом отдала банку обратно.



Медвежонок негромко заурчал, облизывая сплюсненную банку, как леденец. Подождав немного, медведица рывкнула и лёгкими шлепками погнала его к лабазу.

И тут Проньке вдруг показалось, что медведица оглядывается и смотрит на него исподлобья.

Пятясь и приседая, отошёл Пронька несколько шагов и побежал.

Добежавши до Чурола, Пронька скинул с плеч мешок и ружьё, опустился на коленки и стал пить воду прямо из речки. В горле у него пересохло, по лбу катился пот, и сердце так колотилось, что заглушало Чурол.

«Ишь до чего додумалась, сатана, — удивлялся Пронька, — медвежонка на столб сажает!»

Вода была ледяная, от неё ныли зубы, и глоталась она со звоном.

Пронька пил и вздрагивал, оглядывался назад: не бежит ли медведица.

Из тайги вылетела к реке кедровка, села на сухую пихту и принялась кричать, надоедливо и грубо, как ворона.

— Чего кричишь! — разозлился Пронька. — Проваливай!

Он подумал, что кедровка нарочно при-

важивает к нему медведицу. Поднял ружьё и подвёл медную мушку прямо под чёрное крыло с рассыпанным на нём белым горошком.

— Сейчас вмажу третьим номером, покричишь тогда!

Пока Пронька раздумывал, вмазать или нет, кедровка сообразила, что к чему, и улетела.

«Что ж делать-то теперь? — думал Пронька. — В лагерь с пустыми руками идти нехорошо, а к лабазу — страшно».

И тут пришла вдруг ему в голову лихая мысль: попугать медведицу.

Пронька поднял ружьё и сразу из двух стволов ударил в воздух. Не успел ещё заглохнуть выстрел, как Пронька крикнул во всё горло:

— Прокопий! Ты чего стрелял?

Помолчал и ответил сам себе басом:

— Глухаря грохнул!

— А велик ли глухарь-то?

— Зда-а-аровый, чёрт, килишек на пять!

От крика своего Пронька развеселился, его насмешило, как он ловко соврал про глухаря.

«Ладно, — решил он, — пойду обратно! Буду орать на весь лес, издали пугать мед-

ведицу. Устрою ей симфонию! Небось не выдержит, убежит».

Не спеша пошёл он к лабазу и действительно устраивал на ходу симфонию: стучал дубинкой по стволам деревьев, ломал сучки, выворачивал сухие пихточки, которые крякали и скрежетали, а потом вытащил из ружья патроны и затрубил в стволы, как трубит лось во время гона.

— Эй, Коля-манси, — кричал Пронька, — у тебя ружьё заряжено?

— А как же, — ответил он сам себе тоненьким Колиным голосом, — пулей заряжено! А у тебя заряжено?

— И у меня заряжено! Пулей «жиган». Самый раз на медведя!

— Эй, Пахан-Метла, а ты чего молчишь?

— Я ружьё заряжаю!

— Прокопий! Надо остановку делать. Чай надо пить! У оленя голова болит!

— А чего она болит-то? Рога, что ли, у него растут?

Уже перед самым лабазом Пронька даже запел.

Размахивая топором, он вывалился на поляну, где стоял лабаз.

Ни медведицы, ни медвежонка не было. В раскрытую дверь лабаза высунулся разо-

рванный мешок, из которого сочилась струйка муки.

— «Ромашки сорваны, — орал Пронька, — увяли лютики!..»

Голос его звучал хрипло, мотив Пронька врал, потому что петь сроду не умел.

Он хотел кончить песню, но побоялся, что медведица где-нибудь рядом, и заорал для острастки ещё сильнее.

Под песню разыскал он в кустах лестницу и полез наверх, в лабаз. Там было всё вверх дном.

Пронька слез на землю, поднял сплюснутую банку сгущёнки. Медведица так сдавила её, что банка превратилась в жестяной блин.

«Вот уж кто действительно мог в темпе рубануть сгущёнку, — подумал Пронька. — А ведь Пахан-Метла не поверит, скажет: сам рубанул».

Он завернул сплюснутую банку в тряпочку и сунул её в карман.

Пронька устал, от криков и от пения у него драло в горле, потому-то разболелась голова.

— Надо остановку делать, — сказал он. — Чай надо пить, а то голова чего-то болит... И чего она болит-то? Рога, что ли, растут?

ЛЕСНИК БУЛЫГА

Стоял на краю леса домишко-то Булыгин. Старенький был, совсем понурый. Осиновая щепка на крыше покоробилась, а между брёвен изо всех щелей торчал наружу белёсый мох.

Два дня назад началась весна, и эти два дня я добирался до Булыгина жилья, вначале на поезде, а потом пешком по раскившейся весенней дороге.

— Вон оно что, — сказал Булыга, завидев меня. — А я-то чувствую: из лесу русским духом пахнет, а ко мне гость из Москвы.

— Или не рад?

— И кошка сегодня целый день умывалась, и ножик на пол упал — так и есть, гость пожаловал.

Пока я скидывал на крыльце рюкзак да вытирал шапкой вспотевший лоб, Булыга сходил в избу и вытащил на двор самовар.

Скоро самовар запыхтел на проталинке, засиял старой медью.

— Глухарь токует всюю, — сказал Булыга.

— Старый петух? — удивился я. — Неужто его не хлопнули?

— Жив, — подтвердил Булыга.

Этого петуха я видел не раз на боровом болоте Блюдечке, только на выстрел глухарь меня не подпускал: старый был, умный.

— А где он токует-то? — спросил я.

— На Блюдечке, где ж ещё, — сказал Булыга. — Только завтра я сам пойду.

— Хлопнуть хочешь?

— А что? Или мы стрелять разучились?

Быстро подступала весенняя ночь, полная самых внезапных и запутанных звуков. Трещали в близком лесу дрозды, протянул над ёлками вальдшнеп — до нас донеслось его цвирканье.

Самовар чуть светился в сумерках, а в нижние его окошечки ссыпались раскалённые угольки.

Совсем стемнело, и самовар поспел. Булыга подхватил его, поперхнулся дымом и, накрыв жерло самовара крышкой с помпончиком, потащил его в дом.

По-прежнему что-то щёлкало в ходиках и темно было в избе, но я проснулся.

Была самая середина ночи. Под подушкой моей чирикал сверчок, а с лавки доносился Булыгин храп.

— Пора вроде... — сказал я.

— Э-эх! — вздохнул Булыга, закрихтел, просыпаясь.

Мы выпили чуть тёплого, с вечера, чая, надели сапоги, взяли ружья и вышли.

Темно-темно ещё было, совсем темно и холодно. Ни месяца, ни звёздочек в небе, да и неба-то не видно — холод и туман. Из лесу струёй бил резкий запах тающего снега, прелых листьев. И тихо было, совсем тихо.

— Лови подсадную и валяй в салаш, — сказал Булыга. — А я пойду покамест глухарिशку послушаю.

— Взял бы меня, а?

— Нету, — сказал он. — Нечего мне в лесу шуметь да кряхтеть. В салаш иди.

— В салаш, в салаш!.. — заворчал я.

Но Булыга уже пропал в темноте. Треснула ветка, прошуршал снег — ушёл Булыга к маленькому болоту Блюдечку, где глухариный ток.

Подсадные утки жили у Булыги в сарае, в соломенном закутке. И как только я сунулся туда, заорали, оглашенные, стали носиться под ногами, хлопать крыльями.

Я поймал подсадную, засунул её в кошёлку-плетёнку и побежал краем леса к болоту, к шалашу. Утка тяжело переваливалась в садке, крякала под самым локтем, а под ногами на все лады пели-треща-

ли лужицы, схваченные утренним льдом. По клюквенной тропке, вдоль неглубокой канавы, я бежал к Кузьяевскому болоту.

В темноте ещё я был на месте. Высадил подсадную на воду и спрятался в шалаше под старой ёлкой, вышедшей из лесу к болоту.

Стало светать, чуть-чуть, еле-еле. Низом потянул ветерок, как раз забрался под полушубок, в раструбы сапог, и скоро я так замёрз, будто всю ночь проспал в весеннем лесу, без костра.

Откуда-то близко, с берёзовой вырубки, потянулся в тишине таинственный шипящий звук, и резкий и плавный одновременно: «Чу-фффффф! Чу-ффффффышш...»

Это заиграл первый тетерев. Даже не заиграл, а только попробовал, только показал: здесь, мол, я. Но уже отозвался ему другой — понёсся с берёзовой вырубki весенний тетеревиный клич: «Чу-фффышшш!..»

И будто подхлестнули тетерева мою подсадную. До этого она всё молчала и охорашивалась, плескалась в воде, а тут развернулась к лесу, подняла голову и так закричала, что у меня сердце оборвалось: «Кра-кра-кра-кра-кра-кра-кра!..»

Как от удара рассыпалась ночная тишина — забурлили, забормотали тетерева-

косачи, так забурлили, будто в их чёрных горлах собрались все весенние ручьи. Заблеяли воздушные барашки-бекасы, ныряя с одной волны ветра на другую, а на дальнем, недоступном, болоте в серебряные и медные трубы переливчато заиграли-закурлыкали журавли. И с журавлиной песней выкатилось из туманной пелены солнце и ещё прибавило звону. Огненная стрела просвистела в небе, рассекла его серое дно, и зашевелились-зашуршали болотные кочки, лопнула плёнка льда в луже, крикнула выпь, а в бочаге, под самым шалашом, гулко бухнула щука.

Бум!.. — грохнуло невдалеке, там, на Блюдечке. И второй раз: бум-mmm!.. И пошёл этот звук вдоль всего леса, запутался в крайних ветвях, поднял в воздух стаю дроздов с макушки ёлки, и все другие звуки вдруг пропали, словно поперхнулись, но уже через секунду снова бушевали вовсю.

И тут я услышал над головой: «Трр-трр-трр...»

— Что такое? Что?..

Но не успел я и сообразить, как в воду плюхнулся селезень! И замолчала сразу крякуха, а я медленно-медленно поднял ружьё, которое стало жарким, и не видел уже ничего — только селезень покачивается на волне...

...Ахнул в ушах и отозвался вокруг мой выстрел, резко долбануло в щёку прикладом, дробь подняла фонтан вокруг селезня.

Я выскочил из шалаша, и мне открылось всё залитое весной небо, и болото, и селезень, распластанный на воде.

Обалдевшая от выстрела крякуха снова заорала-запричитала, а в бочаге, у шалаша, снова бухнула хвостом щука...

Я достал битого селезня, положил его в шалаш, а в глазах всё стояло, как он качается, качается на волне...

Когда откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость, тогда налетел второй селезень. Я услышал жужжание и свист его крыльев над шалашом. Он сделал круг над болотом и только на втором кругу отозвался крякухе. Так странно было слышать утиное кряканье сверху, с неба, что я не выдержал и встал в рост, развалив шалаш, и ударил влёт.

Селезень взмыл кверху и пошёл выше, выше — эх! — в сторону Блюдечка, на Булыгу! Эх, промазал! Эх! Дурак, дурак!

Я стал выправлять шалаш, а в двух шагах от меня снова ударила в бочаге щука — она была у самой поверхности, тёрлась

боками о траву, выдавливала икру. Далеко же она забралась — больше километра отсюда до реки! По болотной-то канаве, против талой воды, и зашла она к лесу бросить икру...

А подсадная всё орала и орала, и глухо бубнили тетерева на берёзовой вырубке...

К обеду я вернулся в избушку. Булыга был уже там. Я наколол щепок, стал раздувать самовар.

А солнце было уже высоко, от его света и от усталости слипались глаза. Только прикроешь их — видишь ослепительно рябую болотную воду, и на ней качается селезень...

— Ну как? — спросил я.

— А никак, — ответил Булыга. — Пустой.

— А что ж глухарь?

— А ничего, — сказал Булыга. — Ну, садимся самовар пить.

Мы пили чай, позванивали ложками, отдувались утомлённо.

— Глухарей в этих местах всех перебили, — говорил Булыга. — Один остался.

Так устали глаза, что я и чай пил с закрытыми и видел: рябая болотная вода, а на ней качается селезень...

— Пошёл я к нему, — рассказывал Булыга про глухаря, — а он и поёт и поёт, ни черта не слышит. А кому поёт? Ведь глухарки нету ни одной. А он и поёт-то и поёт...

— По кому ж ты стрелял? — спросил я.

— По нему, по кому же ещё.

— Или промазал?

— Нет, — ответил Булыга. — Маленько в сторону взял. Ладно, хоть душу отвёл.

— Спугнул?

— Нет, и после выстрелов всё поёт. Со всем очумел от весны.

Я снова прикрыл глаза и видел, как один из другого возникают красные и оранжевые круги, а за ними качается на воде весенний селезень... и качается и качается на воде.

БЕЛОЗУБКА

В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полёвки. Темней. И главное — нос! Лопаточкой, как у крота.

Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбьи косточки, только когда я сердито топнул, спряталась.

«Хоть и не простая, а всё-таки мышь, — думал я. — Пусть знает своё место».

А место её было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезла и на другой день.

Да, это была не простая мышь! И главное — нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

А землероек, слышал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других — белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

Так я и назвал её Белозубкой — наугад.

Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть всё это она никак не могла, значит, делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у неё тайные погреба.

К осени начались в тайге дожди, я стал ужинать в избушке.

Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Белозубка, схватила самый

большой сухарь. Тут же я щёлкнул её пальцем в бок.

«Пи-пи-пи!» — закричала Белозубка.

Прижав к груди сухарь, она подтащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах её, под гнилым кедровым бревном, было ещё много места.

Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

Белозубка вернулась и снова забралась на стол.

Я шевелился, кричал и кашлял, стараясь напугать её, но она не обращала внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл её стаканом.

Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в гранёную стенку.

«Посидишь немного, — думал я. — Надо тебя поучить, а то совсем потеряла совесть».

Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай — нет ли там снега? — но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли строгие короткие усы.

Дядя Белозуб обошёл стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под гранёный край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.



Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руках третий стакан, треснутый.

Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таёжной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что

он не перестал, всё так же шуршал по крыше.

Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно всё обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила она пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном, сидит мышинный король Землерой. Это он посылает своих подчинённых спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик — хитростью.

Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

Он обошёл перевёрнутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

Я пошевелил пальцами. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съёжившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

«Ваше величество! — докладывал, наверно, он королю Землерою. — Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

«Стаканами? — удивился, наверно, Землерой. — В таёжной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

«У прохожих геологов выменял».

«И много у него ещё стаканов?»

«Ещё один, треснутый. Но есть под нарами трёхлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

Дождь к вечеру всё-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

Я надел высокие сапоги, взял топор и пошёл поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил подержать их ещё немного, поучить уму-разуму.

В стороне от избушки нашёл я сухую пихту и, пока рубил её, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного

мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак.

«Ваше величество, он ушёл, — докладывали в это время лазутчики королю Землерою. — Сушину рубит и долго ещё провозится. Ведь надо её срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

«Надо действовать, а то будет поздно», — предлагал хвостатый Сыщик.

«Валяйте», — согласился король.

Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевёрнуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал — огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

«Залез с ногами на нары и чагу пьёт», — докладывали лазутчики Землерою.

«А что это такое — чага?» — спросил король.

«Это — древесный гриб. Растёт на берёзе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для же-

лудка», — пояснил королевский лекарь — Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущённо раздувал щёки.

«Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

«Ладно тебе, — говорила Белозубка. — Что было — то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

«Хорошая идея! — хлопнул в ладоши король. — Эй, квасовары, кваса!»

Толстенские квасовары прикатали бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было: «Будь здоров!» — вышиб из бочки пробку.

Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был Балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, толь-

ко Сыщик строго приняхивался к окружающим.

«Пускай Белозубка споёт!» — крикнул король.

Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

Я ничего от вас не скрою,
Я всё вам честно расскажу:
Всю жизнь я носом землю рою
И в этом счастье нахожу.
Своё я сердце вам открою:
Я всех готова полюбить,
Но тот мне дорог, кто со мною
Желает носом землю рыть.

«Мы желаем! Мы желаем!» — закричали кавалеры.

«Пошли в избушку! — крикнул кто-то. — Там теплей и места больше!»

И вот на полу у горячей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

Над печкой у меня вялились на верёвочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья.

Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:

Да здравствует мышиный дом,
Который под Гнилым Бревном!
Мы от зари и до зари
Грызём в том доме сухари!

Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

«Вот и кончилась наша последняя ночь», — сказала Белозубка.

«Спокойной ночи, — сказал Землерой. — Прощайте до весны».

Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал всё внимательно, забрался даже на стол, пробежал по нарам и наконец пропал.

Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду — на земле, на деревьях, на крыше — лежит первый снег. Гнилое Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать — бревно это или медведь дремлет под снегом.

Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подниматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.

У КРИВОЙ СОСНЫ

Высокая и узловатая, покрытая медной чешуёй, много лет стояла над торфяными болотами Кривая сосна. Осенью ли, весной — в любое время года казались болота мрачными, унылыми, только Кривая сосна радовала глаз.

С севера была она строга, суховата. Она подставляла северу голый ствол и не прикрывалась ветками от ветров.

С востока ясно было, что сосна действительно кривая. Красный ствол туго загнулся вправо. За ним метнулись ветки, но тут же поворотили назад, напряглись и с трудом, цепляясь за облака, выправили ствол, вернули его на прежнюю дорогу.

С юга не было видно кривизны. Широкая хвойная шапка нависла над болотом. Вырос будто бы на торфу великий и тёмный гриб.

А с запада кривизна казалась горбом, уродством. С запада походила сосна на гигантский коловорот, нацеленный в небо.

В сухой год в июле над сосною прошла гроза. Торфяная туча навалилась на болота пухлым ржаным животом. Она ревела и тряслась, как студень. От ударов грома осыпалась голубика.

Прямая молния угодила в сосну, спиралью обошла ствол, пропахала кору до древесины и нырнула в торф. От этой молнии за год высохла сосна, но долго ещё стояла над болотами, сухая, посеребрённая. Осенний ветер — листвобой — ухватил её за макушку, поднажал в горб да и вывернул с корнем. Рыхлый торф не удержал корней.

Года через два после того я охотился на торфу.

Была ранняя весна, и утка летела плохо. В болотах млеет ещё жёлтый кислый лёд, но на берегах уже появилась из-под снега прошлогодняя трава и груды торфа.

Частым осинником вышел я на поляну, где лежала Кривая сосна. За зиму на неё намело снегу. Корень-выворотень весь зарос им и стоял торчком среди осинника, как белый горбатый бык. В осиннике снег таял медленней, чем на открытом месте, —

всюду видны были светлые пятна, а на них зимние заячьи следы.

Вспрыгнув на ствол, я заглянул по ту сторону поваленного дерева. Здесь снега было ещё больше — целый сугроб, и на снегу, притаившись, лежал большой серый зверь.

Рысь!

В глазах поплыли красные пятна, я стал сдёргивать с плеча ружьё, но зверь не шевелился. Постояв с минуту, я осторожно слез на землю, шагнул вперёд.

Вытянув длинные голенастые ноги, запрокинув голову, на снегу передо мной лежал лосёнок. Он был серый, как нелинявший заяц, — тёмная спина цвета осиновых серёжек, а на животе мех светлый, облачный. Глаза его были закрыты. Рядом лежало несколько обглоданных осиновых веток.

Я подошёл и, не знаю зачем, дотронулся до него сапогом. Нога ударилась, как об пень, — он давно уже окоченел. На боку заметно было белёсое розовое пятно — след огнестрельной раны.

Дело было ясное. Кто-то стрелял в лосёнка и ранил его. Стрелял браконьер, дурак. Он знал: лосей бить запрещено. Выстрелив, он напугался того, что сделал, убежал домой.

Измученный болью в боку, лосёнок не один ещё день бродил по лесу и пришёл сюда, в осинник у Кривой сосны. Здесь он прилёг на снег и лежал, защищенный корнем-выворотнем от ветра.

Закурив, я закинул за спину ружьё и хотел осмотреть его рану, но замер на месте.

В десяти шагах, в ольховых кустах, приподняв лишь голову от земли, лежала лосиха. Она лежала неподвижно и тяжело, внимательно глядела на меня.

В деревне Стрюково охотников мало. Мужчинам хватает колхозной работы, и в лес бегают двое-трое. Настоящий охотник тут один — государственный лесник Булыга.

Я нашёл его около дома, в саду. Поднявшись на лестницу-стремянку, он обрезал яблоню кривым ножом.

— Слышь, — крикнул я, — лосёнка нашел! Мёртвого.

— Где?

— У Кривой сосны.

Булыга слез на землю, достал сигарету «Памир», присел на корточки, привалясь спиной к стволу яблони. Он закурил и сразу окутался дымом. Его морщинистое лицо и вся большая голова походили сейчас на хмурую деревенскую баньку, кото-

рую топят по-чёрному: изо всех щелей валит дым.

— На боку рана, — объяснил я. — Кто-то стрелял. А мать лежит рядом, ждёт, что он встанет.

— Лоси у меня на учёте, — сказал Булыга. — Надо глядеть — акт составлять. Пошли — покажешь.

Весь день стояла пасмурная погода, но часам к пяти похолодало, облака частью ушли с неба, стало очень светло. Поля и перелески просматривались насквозь, и чуть ли не за километр заметна была пара тетеревов, сидящих на берёзке.

Я шёл следом за Булыгой туда, к Кривой сосне, и думал: «Кто же это мог стрельнуть в лосёнка? Зачем?»

Неподалёку уже от сосны, в осиннике, Булыга остановился.

— Слушай, — сказал вдруг он, — если это ты его стукнул, честно скажи.

Глянув мимо меня, он отвернулся.

Всё так же вытянувшись и закинув голову, лежал на снегу лосёнок. Лосиха рядом, в ольховом кусту. Она, наверно, не вставала с тех пор, как я ушёл. Хрипло крича, над поваленной сосной летали две сороки.

Булыга оглядел следы на снегу и на торфе, потом подошёл к лосёнку и нахло-

нился над ним. Тут же послышался тревожный треск.

С трудом, неуклюже лосиха поднялась на ноги. Она казалась огромной на тонких, сухих ногах, и особо велика была её голова с насупленной губой. Ноги у неё дрожали.

— Экое буйло, — сказал Булыга, отходя на всякий случай в сторону. — Сгас твой парень, сгас...

Вздёрнув губу, лосиха прикусила осиную веточку, сгрызла с неё кору.

— А я думал, это ты его ударил. Теперь вижу: не ты. А если не ты, тогда Шурка Сараев. Только он в лес ходил, искал, говорит, косачиные тока.

Лосиха поглотила осиновой коры, потом переломила зубами ветку и подошла к лосёнку. Постояла, наклонилась, положила ветку на снег.

Следующим утром налетели на деревню Стрюково скворцы. Они свистели на всех заборах, на вербах, на сараях. Дороги и оттаявшие огороды были усыпаны скворцами, будто подсолнечными семечками.

А за огородами, над полем, поднимаясь высоко в небо, непрерывно пели жаворонки. Тёплое сдобное облако, плывущее над землёй, было утыкано жаворонками, как изюмом.

Утром я пил у Булыги чай, и за чаем мы помалкивали, ожидая Шурку Сараева. Мы фыркали, отдувались, кривились от кислой клюквы.

— Эй, хозяин! — заорал с улицы Шурка Сараев. — Дома, что ли?

Прогредев дверью, Шурка вошёл в дом, прислонил к стене ружьё, а сам присел на порог.

— Иди в комнату.

— Да сапоги грязные.

— Скинь.

В белых вязаных носках Шурка прошёл в комнату, сел на диван, купленный для гостей, заслонил спиной вышитого на покрывале голубого петуха.

— Рассказывай, Шурка, как дело было, — сказал Булыга.

Голос его звучал спокойно, но в нём слышалась будущая гроза, и Шурка забеспокоился:

— Какó?

— Такó! — передразнил Булыга, торопливо отхлёбывая чай. — Ну-ка, подай ружьё!

— Како? — снова не понял Шурка.

— Твоё! — рявкнул Булыга и закашлялся, подавился клюквой. — Подай сей момент!

Шурка вскочил с дивана и за дуло выволок ружьё из прихожей. Оно зацепилось

за порог и не протаскивалось в комнату, упиралось.

— Ты не ори, — сказал Шурка, подавая ружьё и не понимая ещё, в чём дело. — Разберись вначале, потом ори.

— Мы уж во всём разобрались, — угрожающе сказал Булыга. — Всё замерили. Знаем, чьё это дело.

Шурка напряжённо присел на диван, голубой петух выглядывал из-за его плеча.

Булыга переломил ружьё и понюхал ствол, а затем стал вроде бы исследовать ружьё Шуркино изнутри.

— Так точно и выходит, — сказал он и сунул мне под нос переломленное ружьё. — Видишь?

Поглядев на ржавый, несмазанный замок, я буркнул:

— Вижу.

— Вот и я вижу, — сказал Булыга и резко встал из-за стола. — Ружьё, Шурка, придётся у тебя отобрать.

Отворив шкаф-гардероб, он сунул в него Шуркину тулку.

— Ты погоди, погоди, — сказал Шурка, вскакивая с дивана и хватая Булыгу за локоть. — Не балуй! Ты ружья не покупал!

— Сядь! — сказал Булыга, отворачиваясь от шкафа. — Сядь, отвечай на вопросы. Ты когда был в лесу?

— В ту субботу.

— Стрелял?

Шурка кивнул:

— Утицу.

— Врёшь! Утка ещё не летела. Кого стрелял? Говори!

— Кого надо! — заорал Шурка. — Чего ты пристал, булыжник!

— Ну ладно, — сказал Булыга, внезапно успокаиваясь. — Суд разберётся.

Слова эти Шурку ошеломили, он окостенел, тупо разглядывая блюдо с клюквой.

За окном свистнул скворец, солнечный заяц пробился через ящик с рассадой, стоящий на подоконнике, забегал по дивану, по голубому петуху.

— Я ведь ничего такого не сделал, — тоскливо сказал Шурка. — И стрельнуло разок — пугнуть хотел.

У Шурки Сараева карие глаза. Он умеет играть на гармонии.

Каждый вечер приходит Шурка в клуб, садится посреди залы на табурет, и пошло-поехало: пум-ба-па, пум-ба-па...

Льётся из гармонии музыка, а Шурка потряхивает в такт головой и сильно давит левой рукой на басы.

За музыку Шурку в деревне уважают. Не всякий сыграет на гармонии, да ещё

чтоб левая рука попевала за правой, а правая не ревела белугой, ласково нажимала на кнопки.

Потерянный сидит сейчас Шурка на Булыгином диване — голубой петух нацелился ему в висок.

— Ну, это... — говорит Шурка. — Ну, так уж получилось. Ну, шёл я, а тут лосиха. Выскочила из куста — и на меня. Хотела, наверно, затоптать. Ну, я и пугнул, чтоб отстала.

— А как же в лосёнка попал? — спросил я.

— Так я ж мимо стрелял! — обрадовался почему-то Шурка. — По кустам, а там лосёнок стоял.

— Ты что ж, его разве не видел?

— Не видел, не видел, где там увидеть — кусты, ёлочки...

Шурка крутился на диване, глядел то на меня, то на Булыгу: верим или нет?

— Ступай на двор, — сказал Булыга. — Возьми лопату.

— Зачем?

Булыга не ответил, и Шурка решил, видно, не спорить; встал, прошёл в своих белых носках по половикам, кряхтя, надел у порога сапоги и тихонько хлопнул дверью.

— Пошли и мы, — сказал Булыга. —

Надо лосёнка прибрать, а то ведь она не отойдёт от него. Сгаснет.

Во дворе Булыга срезал бельевую верёвку, навязанную на берёзы, и мы пошли к Кривой сосне. Шурка с лопатой на плече шёл впереди и на поворотах тропы останавливался.

— Ты только до суда не доводи, — просил он Булыгу, виновато взмахивая лопатой.

В осиннике снега почти не осталось. Сугроб, на котором лежал лосёнок, съёжился, пожелтел, под него подтекла тёплая лужа. И лосиха лежала теперь подальше от Кривой сосны и смотрела в сторону, на торфяные болота.

— Подойди-ка поближе, — сказал Булыга. — Погляди.

— Чего я буду глядеть? — сказал Шурка недовольно и отвернулся, играя лопатой.

— Гляди.

— Ну гляжу. Ну и что? Чего пристал?

— Комай яму, — сказал Булыга и плюнул мимо Шурки.

— Ну выкопаю, ну и что?

Шурка прошёлся по поляне вокруг сосны, потыкал лопатой.

— Земля-то мёрзлая, — уныло сказал он.

Наконец он примерился, нашёл какую-то небольшую ямку, стал её расширять.

Торф поддавался плохо: не оттаял как следует. Шурка копал мучительно, часто останавливаясь отдохнуть.

— Ну, яму я выкопаю, ладно. Только ты до суда не доводи. Она меня затоптать хотела. Вон какая морда, она нас всех топчет!

Лосиха повернула голову на шум, но не вставала, а только смотрела, что делает Шурка.

Через час яма была готова, и Шурка обвязал ноги лосёнка бельевой верёвкой. Потом, закинув верёвку на плечо, стал подтягивать его к яме.

— Помогите, что ль, — сказал он, напрягаясь изо всех сил.

Я хотел было подсобить ему, чтоб скорее кончить всё это тяжёлое дело, но Булыга взял меня за рукав.

— Пускай сам, — сказал он. — Сам убил — сам пускай хоронит.

Уже у ямы лосёнок застрял в кустах. Шурка дёрнул яростно и оборвал верёвку.

— Барахло! — закричал он, чуть не плача и махая обрывком. — Верёвка твоя дрянь! Гнилушка.

— Надвяжешь.

Затрепали кусты: лосиха медленно поднялась и пошла к Шурке, высоко подымая ноги, выбирая место, куда ступить.

— Она ведь убьёт! — закричал Шурка, бросая верёвку. — Она меня помнит!

— Небось не убьёт, — сказал Булыга. — А убьёт — похороним. Яма-то как раз готова.

Шурка сплюнул, поглядел ещё на лосиху и вдруг бросился в сторону.

— Куда? — закричал Булыга.

Но Шурка не отвечал, ломал сучки, выбираясь на тропу.

— Вертайся, дурак! — заорал Булыга.

Выйдя из кустов на поляну, лосиха остановилась, подняла кверху голову, так что стала видна её коротенькая бородка, и захрипела. Она жестоко исхудала, грязно-бурая шерсть на ней свалялась и висела клочьями.

— Опасно всё-таки, — сказал я. — Может убить.

— Небось не убьёт, — повторил Булыга. — Сама еле дышит.

Лосиха обнюхала верёвку, шумно выдохнула, отошла и снова тяжело легла в кусты.

— Эй, — закричал Булыга, — вертайся!

— Не вернусь! — откликнулся Шурка неподалёку. — Она меня помнит!

Перемазанный торфом, с разодранным в кустах лбом вышел Шурка к сосне, боком-



боком подошёл он к лосёнку, наклонился, взял в руки верёвку.

— Я сделаю, — сказал он. — Постараюсь. Ты токо до суда не доводи.

Спустив лосёнка в яму, Шурка стал её торопливо забрасывать землёй.

— Всё, — сказал он. — Теперь всё. Пошли домой.

— Погоди, — сказал Булыга. — Посмотрим, что она будет делать.

Лосиха долго ещё лежала на месте, потом поднялась и пошла к торфяной куче, наспех набросанной Шуркой. Подняв голову кверху, она вдруг коротко захрипела, забормотала что-то и легла животом на торфяную кучу.

КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА

Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки — воды».

От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромо-

выми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копчёного леща.

Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугуны картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на тёплой, преющей картошке.

Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вёл продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался ещё и с приплодом. Кроме своего лохматого товара приводил и какого-нибудь Тузика, которому некуда было приткнуться.

Весной и летом я жил неподалёку от Томила, на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нём ни сада, ни дачи — росли две ёлки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке.

А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обростала белыми усами.

— Яблоки, а не картошка! — расхваливал он свой подарок. — Антоновка!

Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на брёвнах, глядя, как между ёлками вырастает новое сизое и кудрявое дерево — самоварный дым.

— Надо тебе собаку завести, — говорил Аким Ильич. — Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы — во! Башка — во!

— Что за имя — Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

— Тузик — хорошее имя, — спорил Аким Ильич. — Всё равно как Пётр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря — не пойму.

С Тузиком я встретился в июле.

Стояли тёплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было: «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нём спать, но надпись отстирать не удалось.

И вот я спал однажды под ёлками в мешке «Пичугин».

Уже наступило утро, солнце поднялось

над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мои щёки, чтоб побрить. Дело своё парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

Страшного увидел я «парикмахера».

Надо мной висела чёрная и лохматая собачья рожа с жёлтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пёс этот облизывал моё лицо.

Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

— Это тебе подарок! — кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. — Тузик звать!

Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок — Тузик — наскакивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

— Посмотри-ка, — сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал её на лету и слопал прямо в

кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая мокрая клыкастая пасть.

Наводить ужас на людей — вот было главное его занятие.

Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали за приметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным рёвом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно — злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

ОСТОРОЖНО!
КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!

Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака — вот ужас-то!

В дачном посёлке скоро прошёл слух, что картофельная собака — штука опасная.

— Дядь! — кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. — А почему она картофельная?

В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглёр, ловил её на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг кляцнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дёрнул поводок — Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

— Колбаса!

Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не коляска, а именно батон толстой варёной колбасы, похожий на дирижабль.

Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придётся. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Всё это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

— Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

Но вот как-то раз Тузик принёс домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мёртвая.

В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдёт разгневанный хозяин.

Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич.

Сердечно улыбаясь, шёл он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.



— Жирная, — сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

— Будешь или нет?!

Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился весёлый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

— Понял или нет?! — сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

— Что делать-то с нею? — спросил я.

Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

— Подождём, пока придёт хозяин.

Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать её фуганком. Он работал легко и красиво: фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

— Курица тухнет!

Громила Тузик прилёг под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

— Курица тухнет!

— Так что ж делать?

— Надо курицу ошипать, — сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

— Заводи-ка, брат, костёр. Вот тебе и стружка на растопку.

Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурился в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

— Пообедаем как люди, — сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

Чудно́ было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас — лесной костёр, свободная трава.

Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов: «Но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

— Эй, товарищи! — слышалось вдруг.

У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

— Эй, товарищи! — кричал он. — Кто тут хозяин?

Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору.

— В чём дело, земляк? — крикнул Аким Ильич.

— В том, что эта скотина, — тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, — утащила у меня курицу.

— Заходи, земляк, — сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, — чего через забор попусту кричать.

— Нечего мне у вас делать! — раздражённо сказал хозяин курицы, но в калитку вошёл, опасливо поглядывая на Тузика.

— Сядем потолкуем, — говорил Аким Ильич. — Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

— «Десять»!.. — презрительно хмыкнул владелец. — Двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

— Очко! — восхищённо сказал Аким Ильич. — Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, — продолжал Аким Ильич, подумав, — мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

— Не знаю, — недовольно ответил «земляк», ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

— Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

— Я с этой картошкой совсем измучился, — сказал хозяин курицы. — Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам всё макароны, макароны...

— Картошки у него нету, а? — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. — Так ведь у нас целый мешок. Бери.

— На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

— Картошка хорошая! — лукаво кричал Аким Ильич. — Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с неё мундир, сказавши:

— Пирожное.

— Нешто попробовать? — засомневался владелец курицы. — А то всё макароны, макароны...

Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил её хозяйственно и надкусил.

— Картошка вкусная, — рассудительно сказал он. — Как же вы её выращиваете?

— Мы её никак не выращиваем, — засмеялся Аким Ильич, — потому что мы

работники картофельных складов. Она нам полагается как паёк. Насыпай сколько надо.

— Пусть ведро насыплет, и хватит, — вставил я.

Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

— У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к ёлке.

Кончились его лебединые деньки.

Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дёргал цепь, что с ёлки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

Подошёл месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завёл себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на своё лицо вечернюю дачную улыбку.

Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

Встречались нам дачники с собаками — с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстёгивал поводок.

Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса.

Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с рёвом выскакивал из засады и валил его на землю.

Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех.

...Душа у владельца курицы, видимо, всё-таки болела.

Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решил войти.

Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с неё и растерзать вошедшего.

— Собак распускаете! — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

Я слегка окаменел и не нашёлся что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошёлся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

— Это вы Пичугин?

— Да нет, — растерялся я.

Сержант достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке «смирно». Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его «оперение» теперь можно было назвать «приличной причёской».

— На эту собаку поступило заявление, —

сказал сержант, — в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

— Всего одну курицу, — уточнил я. — За которую заплачено.

Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

— Это очень мирная собака, — заметил я.

— А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

Тут я достал из кармана картофелину и бросил её Тузику. Тузик ловко перехватил её в полёте и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

— Странное животное, — подозрительно сказал сержант. — Картошку ест сырую. А погладить его можно?

— Можно.

Только тут я понял, какой всё-таки Тузик великий актёр. Пока сержант водил рукою по нечёсаному загривку, картофельный пёс застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнёт сержанта в руку, но Тузик удержался.

— Странно, — сказал сержант. — Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я её вдруг глажу.

— Тузик чувствует хорошего человека, — не удержался я.

Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

— Растрёпин. Будем знакомы.

Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

— Ну молодец, молодец, — сказал сержант.

И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пёс-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

— Ещё одна курица, — крикнул издали сержант, — и всё! Протокол!

Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику — на картофельный склад.

В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брёл следом.

Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопухими чернушками, да что-то всё мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошёл и прилёг рядом. Играть ему не хотелось.

Я всё-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал её терзать, что чернушки запищали.

Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

— Хороший год, — говорил Аким Ильич. — Урожайный. Яблоков много, грибов, картошки.

По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть ли не у каждого в руке был осенний букет.

Прошёл товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

— Ну чего ты расстроился? — говорил мне Аким Ильич. — В твоей жизни будет ещё много собак.

Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

— И так яблоку негде упасть, — закричали на нас в тамбуре, — а эти с собакой!

— Не волнуйся, земляк! — кричал в ответ Аким Ильич. — Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина...

Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали берёзы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

Хороший это был год, урожайный.

В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками.

ГРОЗА НАД КАРТОФЕЛЬНЫМ ПОЛЕМ

Был странный августовский туман. Он клубился оранжевым и так занавесил ручей, что трудно было разобрать, где же солнце. Но оно взошло и подсвечивало влажные валы тумана, а от ручья по низкому лугу тянулся запах таволги и хвоща.

Я шёл берегом, надеясь поднять уток, но видел только сплетенья тумана и метёлкиязыки приболотной травы. С каждым шагом сочно лопались под ногами её стебли, мягко хлестали, обдавая росой, и скоро я стал мокр и облеплен созревшими семенами.

Немного я прошёл, как дрогнула сеть тумана — обрушился на меня близкий выстрел, а за ним — шум поднимающихся с воды крякух.

— Тпр-р-р-у-у-у-у!.. — закричал кто-то им вслед. Потом, видно, ещё раз насупонил губы, как делают, останавливая лошадь, и снова: — Тпр-р-р-у-у-у!..

Уток я не мог увидеть, только слышал, как они сделали круг и утянули к лесу.

— Эй! — слышалось недалеко. — Эй, Николай!..

— А-а...

— Чего убил?

— Ко-лен-ку-у-у... — тягуче сказал Николай.

В тумане ответ Николая показался особенно глупым и безнадёжным. Я присел на коряжку — спешить было некуда, уток перешумели. Было слышно, как медленно чопают впереди охотники. Они перекрикивались каждые две минуты, боялись, что ли, в тумане потеряться.

Скоро снова впереди лопнул выстрел.

— Эй, чего убил?

— Колен-ку-у-у!..

— Тьфу ты! — плюнул я и низким торфяным голосом пустил вдоль ручья: — Э-э-э-э-эй!..

— А-а-а? — дружно отозвались Николай с приятелем.

— В трясику у-тя-ну-у-у-у...

— А-а?

— У-у-тя-ну-у-у... у-тя-ну-у-у-у!.. — снова пригрозил я.

— Ты кто? — крикнул Николай.

Я ответил таким нелепым голосом, какого и сам от себя никогда не слышал:

— Леший я! Ле-е-е-ший...

Тут прозвенело что-то. Овалы тумана зашевелились, задрожали, и солнце разом развалило их.

Вспыхнул ручей. Стало видно, как он стелется по низкому лугу в глубину леса.

Нигде не было охотников — вдаль стояли стога, нахлобученные на обкошенные пригорки. От них лился запах свежего сена...

Ясны обычно и солнечны августовские дни. Этот день был особый. То вдруг пригонял ветер облака — становилось темновато, то облака быстро раскисали в воздухе. При светлом небе громыхало неподалёку, и находил на лес пасмурный свет — только какая-нибудь сосна вспыхивала под одиноким лучом.

Когда солнце пошло к закату, я бросил пустую охоту, набрал маслят и на краю сосняка, у картофельного поля, поставил палатку. Надо было костёр палить — грибы варить.

Над полем собиралась грозовая туча, да как-то всё не решалась плотно обхватить небо и колебалась над закатом.

— Дочк, Дочк, Дочк... — слышалось с поля.

По меже шёл парнишка в ковбойке и покрикивал.

— Тёлку потерял?

— Овцу, — сказал он, подойдя.

— Ты из Шишкина?

— Нет, с Екатериновки. Генка я, дяди-пашин.

Я знал дядю Пашу, перевозчика из Екатериновки. Он не раз перевозил меня через речку, и мы всегда толковали с ним о погоде.

— Ну, садись, суп с маслятами пробуй.

— Искать надо... Дочк, Дочк, Дочк!..

Генка был невелик, лет двенадцати. Он пошёл дальше по опушке, покрикивая своё.

За краем неба начался глухой скрежет. Он всё нарастал, нарастал, превращаясь в отчётливые удары грома. Неожиданный луч пал на картофельное поле, зажёг ботву зелёным светом, и быстро земля всосала его.

Я залез в палатку и прихлёбывал понемногу суп. Было слышно, как тяжело повёртывались в небе огромные жернова, но выбить искру им ещё не удавалось, они ещё не разгулялись и только притирались друг к другу.

Ссссссссссссс!.. — услышал я и подумал, что это мелкий дождик шелестит. Высунулся из палатки узнать — было темно и сухо, и ни капли не упало на руки, на лоб.

— Дядень! — крикнул издали Генка.

— Эй!

— Гроза собирается.

— Лезь в палатку, — сказал я. — Пересидим...

Генка залез в палатку, и я сунул ему ложку.

— Только от стола, — сказал он, но ложку взял, и мы стали есть суп, прихлёбывая по очереди.

— Ну, как супок? — спросил было я, но тут возникла ослепительная искра, просветила каждый шов палатки и так грохнуло, что зазвенело в затылке, а Генка охватил меня руками, железными от страха.

Снова всё стихло, и даже жернова перестали в небе переворачивать друг друга.

— Во долбануло! — сказал Генка.

Я хлебнул супа, и показалось, будто вкус его после удара молнии изменился.

Ссссссссссс!.. — снова начался непонятный звук, вначале как шелест капель, потом набрал скорость и потянулся над головой томительной длинной пулей.

— Что это, а?

И со звоном ударило по крыше палатки, она туго загудела — брезентовый колокол.

Я высунулся наружу, и на голову мне обрушился поток воды, пригнул голову к земле, в глазах возник корень огненного дерева. Страшный удар лопнул над нами и полетел окрест, выворачивая наизнанку картофельную ботву.

И снова молния — пляшущая берёза — вонзилась в поле. А земля ухватила её

с таким звуком, как будто болотная трясина — выпавший нож. Задёргалась, затряслась другая молния, ища место, в которое ударить, и — пропала. И, бешено чередуясь, возник будто бы лес ослепительных корней...

— Дядень, дядень...

...но только корни эти не высасывали из земли соков, а сами вбивали в неё свою белую голубую кровь.

Я втянул голову в палатку, как черепаха в панцирь. Генка прижался ко мне покрепче, зажмурился, и я плотно закрыл глаза, но всё равно рассекал их свет молний, проникал в голову.

Ливень заливал, и брезент не гудел уже, палатка обмякла, стала вялой и прозрачной, не плотнее блина.

— Глянь, дядь, не видно овцы-то?

Я снова высунулся наружу и в свете молний увидел, как мечется по краю поля лохматое призрачное пятно. Это была овца. При каждом ударе грома она выпрыгивала из травы, как собака.

— Дочк, Дочк, Дочк! — закричал Генка и выскочил из палатки, побежал через поле.

Птичьей клеткой вспыхнула перед глазами его ковбойка, и Генка плеснул руками в сполохе света.

Я вылез из палатки и побежал следом за ним.

Ливень навалился на плечи, хотел расплющить, растворить, вогнать в землю. Щербатым гребнем, частоколом стояли вокруг молнии — сочные, разветвлённые, как вилы. Гром бил — и небо вскидывалось в пене...

— Обходи! Обходи её... обходи!

Зачарованная вспышками, овца прыгала на одном месте, будто дожидалась, когда же влепит прямо в неё. Между молниями вдруг слышалось: «Э-э-э-э-э-э...»

Я бежал и тоже подпрыгивал — «Дочк, Дочк, Дочк!..» — давил картофельную ботву. Она лопалась, хрустела, вскрикивала под ногами, подкидывала вверх, под молнию. Я ждал, как молния настигнет меня, ударит в затылок и — в землю. Я чувствовал эту пустую точку на затылке. Вот упаду, расколуюсь со звоном, как бутылка, разбитая дробью.

Генка бежал шагах от меня в десяти. Голова его за картофельными кустами вдруг загоралась серебряной кочерёжкой.

— Заходи!.. Заходи!

Уах! — влип в поле дрожащий гвоздь — белая молния. Выбрызнула из земли недозревшая картошка. Овца, подпрыгнув, повисла над чёрной ботвой.

Я кинулся на неё, выставив руки, и она снова прыгнула — шальной невиданный зверь вроде единорога.

Я схватил её за шею, и тут же ослепительный огонь вывернул глаза, растянул их до ушей. Вскипел воздух, и голова моя закружилась над картофельным полем, плавно и мягко светясь...

— Башку ей прикройте, дядь! — кричал подоспевший Генка и лупил овцу по чём попало.

Оттянув с живота свитер — «Дочк, Дочк, Дочк!..» — я подсунул под него овечью голову, пятясь, потянул её к палатке — вот наткнувшись спиной на столб молнии, стоящий в земле. И медленная молния, плавная, как масляная струя, потекла, подрагивая, прямо по щеке и, сухо расколовшись, угасла.

Мы затагнули овцу в палатку. Шерсть на ней слиплась, припала к рёбрам — овца казалась ягнёнком.

Ссссссссссс... — снова послышалось над головой. Вспыхнула молния, и я увидел, как бьётся в углу палатки прозрачными крыльями изогнутая коромыслом синяя стрекоза...

Скоро гроза вколотилась в землю, смягчила резкие удары ливнем, иссякла. Мол-

ниеносные тучи ушли. Иногда только раскидывался на небе сполох — небо передёргивалось и темнело.

— Пойдём к нам, дядь, — сказал Генка. — Обсохнешь хоть.

— Да ладно... У костра обсохну. Палатку собирать неохота.

Я взял ружьё и, освещивая фонарём, пошёл проводить Генку да заодно поискать в сосенках сучков, пригодных для костра. Луч фонарика освещал пучки сосновых иголок. От ударов ливня они повернулись остриями к земле.

— Эй!.. — донеслось откуда-то.

Мы остановились, прислушиваясь, и даже Дочка, Генкина овца, замерла на тропинке.

— Эй, кто там с фонариком? — снова донеслось с другой стороны картофельного поля.

— Молчи, дядь, молчи! — шепнул Генка.

— Почему? — неуверенно спросил я.

— Кто его знает, чего он кричит...

Мы постояли немного, помолчали и снова пошли потихоньку краем поля. Рыхлой была земля под полёгшей травой, и слышно было, как жадно, захлёб, булькая, журча, всасывает она воду. Лужи разлились под ногами. Глинистая тропинка была — скользкая рыба налим.

— Эй, с фонариком!..

— Эй! — ответил я.

— Помогите...

Голос тревожно оборвался, заглох в сыром воздухе.

— Дядь, — сказал Генка, — мне домой надо. А то поздно. Отец будет ругать.

— Давай, — ответил я. — Будь здоров. А я схожу узнаю, чего он там орёт.

Я включил фонарик и пошёл по меже, прямо через поле. Генка остался было на тропинке, но потом, обругавши для чего-то овцу, потянул её за собой, догоняя меня.

— Узнаю хоть, чего он там орёт, — сказал Генка, и мы побежали через картофельное поле.

За мутью, проплывающей быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна — плавно, как стеклянный поплавок от рыбацких сетей в волнах.

Плод на невидимом стебле — покачивалась луна в дрожащей пелене.

На бегу я светил фонариком, и перед нами прыгало круглое электрическое пятно, выхватывающее чёрные султаны картофеля и соцветия его, сочные после дождя, как сирень. Овца то путалась где-то сзади, то, как гончая, выскакивала вперёд и спотыкалась, дико оглядываясь.

В электрическом пятне, над волнами картошки, я увидел тёмную фигуру. Человек, очень длинный, жердеобразный, кланялся земле и кричал, размахивая руками:

— Эй, с фонариком, беги шибче!..

Он горстями захватывал землю и скидывал её в одно место, насыпал земляной холмик. Неприятной, чем-то опасной показалась мне эта фигура, не хотелось к нему подходить, да и Генка тормозил меня за рукав.

— Ты кто будешь? — спросил я, остановившись шагах в пяти.

— Да Грошев я с Большой Волги! — закричал он, как будто я всех должен был знать на Большой Волге. — Охотимся мы здесь.

— А зачем звал-то?

— Молния друга зашибла! Помогай! Заваливай!

— Погоди, — не понял я. — Молния? А где ж друг-то?

— Да вот он, — сказал Грошев и ткнул под ноги, наклонился, ухватил земли в пригоршни.

Землёю он покрывал человека. Торчала наружу из холмика голова, и ясней лица видны были круглые картофелины, вырытые из земли. Страшным, обугленным

показалось мне это лицо, и я не решался направить на него фонарик.

— Насмерть?

— Да не знаю я! — испуганно закричал Грошев. — Как молния лопнула, зашипел и лежит, а я-то в сторонке был, у сосенок.

— Что ж ты его хоронишь? Может, он жив?

— Так полагается. Полагается землёй засыпать. Посвети-ка.

Он нагнулся, и захлюпала земля под его руками, чмокнуло что-то в ботве.

— Это верно, дядь, — зашептал Генка. — Земля молнию из человека обратно высасывает.

— Засыпай, засыпай скорее, что стоишь!

Я скинул куртку, бросил ружьё, ковырнул ладонями землю. Взрыхлённая ливнем, она легко расступалась под руками, выламывалась жирными тяжёлыми комьями. Генка захлестнул овечью верёвку пётлей на руке и быстро-быстро стал выгребать землю из-под кустов картошки.

— Коля, вставай! Коля! — бормотал Грошев, обращаясь, как видно, к человеку, лежащему в земле.

Мгновенно прошиб пот. Я не видел в темноте, куда бросаю землю, и не разби-

рал, где земля, где картошка. Генка прерывисто дышал рядом, и подпрыгивала овца на соседней меже.

Горстями, комьями безостановочно кидали мы землю. Грошев сгибался-разгибался, как колодезный журавель.

— Давай, давай! — подгонял он и тут же сбивчиво начинал объяснять, как было дело: — Кругом блестело, кругом. Ну гроза! А я-то в сторону глядел. Вдруг смотрю — лежит... Куда она ударила? В голову или нет?

— Земля молнию высосет, — шептал Генка и вдруг громко кричал: — Дочк, Дочк, Дочк!..

«Э-э-э-э...» — отвечала Дочка и дёргла верёвку, рвалась домой.

— Хватит, — сказал я. — Толку нет. Так мы его землёй задушим.

Со стороны я осветил фонариком лицо лежащего. Оно было черно, неподвижно. И глаза были закрыты. Надбровные дуги, вобрав свет, казались особо выпуклыми.

От сполохов свинцом блестела вокруг картофельная ботва. Было б странно, если б из неё поднялась сейчас живая птица с перьями, клювом, глазами.

— Надо сердце послушать.

— Какое сердце! — раздражённо закричал Грошев. — Пускай ток в землю уйдёт.

— Видишь — не уходит.

— Что ж делать? Что ж делать? В деревню, что ль, бечь! Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда я дену-то его, если не встанет?

Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадёжно — слушать под ней, как слушать отпиленную чурку.

Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка — всхлипывала, пищала дождевая вода, пропитывая землю.

— Дядь, дядь! — закричал Генка. — Ведь он одетый! Одежда не пускает ток!

— Фу, чёрт!.. Разгребай, разгребай скорее... Надо раздеть...

Я схватился за пуговицу, рванул... Где нож?

— Как же я забыл! — стонал Грошев. — Раздеть надо... Где нож? Режь, разрежь китель!

— Ген, посвети... Да нет, сюда свети!

Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, коробилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.

— Оставь сапоги... Сюда свети.

Мы разорвали, разрезали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землёй.

Сейчас, сейчас, ещё немного, и всё будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберёт в себя вместе с дождевою водой.

— Надо железо приложить!

— Какое железо? Где оно? Засыпать полагается.

— Дядь, дядь, ружьё, оно железное.

Я поднял ружьё, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно заскрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.

— Хорошо, хорошо, сейчас оживёт, — говорил Генка. — Оживает, оживает...

— Поздно, — сказал Грошев. — Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.

— Води, дядь, води, он оживёт, вот увидите...

— Беги, Ген, в деревню.

— Да ещё не поздно. Води ружьём, дядь.

Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружьё.

— Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну скорее!

— Надо искусственное дыхание, — сказал я.

— Какое дыхание! — раздражённо вдруг крикнул Грошев. — Засыпать полагается! — И тут же обмяк. — Ну, делай, делай дыхание-то.

— Да я и сам не знаю, как его делать.

— Руками же надо разводить! — умоляюще сказал Генка. — Быстро-быстро!

Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, ещё надавил, отпустил. Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать её к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.

— Сейчас оживёт, — убеждал Генка. — Ещё, ещё...

— Раз-два... — стал приговаривать я.

— Раз-два... раз-два... — поддержал Генка. — Дыши, дыши...

Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?

— Вставай, дядь, вставай! — приговаривал Генка.

— Землёй надо засыпать, — бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.

— Раз-два... раз-два... — твердил Генка и не давал нам остановиться.



Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.

— Что я бабе его скажу? — спросил он.

— Тише, тише... Он дышит!

В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.

Где-то далеко на шоссейной дороге за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжёлые капли падали на землю с листьев картошки.

Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники — вместе прятались от грозы, ловили овцу.

— Придумай что-нибудь, — попросил Генка. — Придумай, дядь. Он оживёт.

— Можно воздух вдуть, — нерешительно сказал я.

— Вдувай! Вдувай! — сразу обрадовался Генка. — В нас воздух живой. Он войдёт в него и оживит.

— Да уж поздно.

— Вдувай, дядь, — просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.

Грошев насторожённо слушал нас. Овца легла на землю, задёрганная верёвкой.

— Ну, посвети.

Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щёки, вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.

Гак! — вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.

Николай дрогнул, повёл рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:

— Чтой-то?

Час прошёл или больше, как кончилась гроза?

У палатки горел уже костёр. Дым от него шёл влажный, утяжелённый, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.

Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землёй лицо, тяжко дышал, закашливался дымом.

Грошев снял брюки и размахивал ими над огнём.

Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.

— Я прямо не верил, что всё обойдётся, — весело сказал Генка.

Он восхищённо глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.

— И папиросы-то намокли, — хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.

— А мы их посушим! — обрадовался Генка.

Николай вяло махнул рукой — дескать, ладно, чего там.

Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить.

Под взмахами загудели сучья, располыхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.

— Сбоку молния ударила или как? — спросил я Николая.

— Прямо под ноги.

— Тогда б ты не встал. Она тебя трянула только и об землю бросила, — возразил Грошев.

— Говорю я — под ноги, — повторил Николай.

— Ух, жара! — сказал Грошев, отскочил от костра. — Ташкент!

— Это ещё не Ташкент, — ответил Генка, протягивая к огню руки. — Сейчас сейчас, разгорятся...

— Генка-а-а! — слышалось недалеко. — Гена-а-а-а!

— Батя! — испуганно вскочил Генка. — Батя меня ищет!

Он дёрнул овцу за верёвку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.

— Иду-у-у! — закричал он.

— Идёшь? — слышался сердитый голос. — Ты куда провалился, а?

— Эй, дядя Паша! — крикнул я. — Иди к огню!

— Тебя мамка ждёт или не ждёт? — закричал дядя Паша, не обращая на меня внимания. — Ты где был, а?

В голосе его звучала такая гроза, что я схватил фонарь и поспешил за Генкой.

— Мамка кричит, что тебя молния убила! Ты думаешь об ней или нет?

— Бать, бать... — толковал в темноте Генка. — Я думаю... Правда думаю...

— Эй, дядя Паша, да погоди ты! — сказал я, догнавши их на тропинке.

— Тебя мамка ждёт или нет? — кричал дядя Паша. — А ты костёр жгёшь! Я те дам костра!

Тут дядя Паша действительно «дал костра» и добавил овечьей верёвкой. Генка сразу, не сходя с места, заревел басом.

— Да погоди ты! — закричал я, ослепляя дядю Пашу фонарём. — Генка не ви-

новат. Тут человека молнией зашибло, а он помогал!

— Чего? — кричал дядя Паша, не признавая меня. — Тебя не спрашивают! Если тебя не ждут, так ты жги костёр, а парня не приваживай!

— Да тут несчастье случилось!

— А ну пошли домой! Тебе мамка даст! Все глаза проплакала!

— «Проплакала»! — неожиданно возразил Генка. — Небось телевизор смотрит.

— Ты поговори, поговори! — кричал дядя Паша и быстро потащил и Генку и овцу его в темноту. — Костёр они жгут! И так весь лес спалили!

Я остался на месте и долго ещё слышал, как дядя Паша ругал сына:

— Тебя мамка ждёт или нет?

Почему-то он особенно напирал на то, что Генку ждала именно мамка, а он вроде бы и не ждал.

— Бать, бать... — слышался в последний раз Генкин голос. — Я больше не буду...

Грошев всё махал брюками над костром.

— Я-то в сторону глядел, — объяснял он Николаю. — Потом смотрю — тебя нет. А ты в картошке лежишь!

— Пыхнула только, — ответил Николай. — А дальше не помню.

Грошев махнул брюками — с костра взлетел пепел, закружились его хлопья, словно моль, серые мотыльки. Сосновые искры потянулись в небо, остановились высоко над костром.

— Дома, — сказал Грошев, — я б сейчас телевизор включил. Семечек насыплю в блюдо и весь вечер сижу.

Он махал брюками и отскакивал от костра, когда искра попадала на голые колени.

— Ну гроза была! Только пыхнула — тебя нет! А ты в картошке лежишь.

— Прямо под ноги ударила, — добавил Николай.

— Я давай тебя засыпать. Сыплю, сыплю, а ты не отходишь. Тут этот прибежал с фонариком. «Искусственное дыхание, — говорит, — надо». Ты не врач, а?

— Киттель бы мне зашить, — сказал Николай.

Я залез в палатку, устроился рядом с ним, подложил под голову рюкзак.

Грошев перестал махать брюками, надел их, присел на корточки у костра.

— Ну и денёк сегодня был! — сказал он. — Ну и денёк! И ведь утром всё началось. Кудлатый какой-то выскочил из тумана —

прямо на меня! Руками машет и кричит: «Леший я, леший!» Морда страшная!

— Да, — вспоминал Николай, — верно. Утром всё началось.

— Что ж, — спросил я, — и ты, Николай, видел лешего?

— Видать-то не видел. Слышал только, как он рычит.

— А я видел, — зашептал Грошев и оглянулся тревожно на тёмный за спиною лес. — Кудлатый, белый. Прямо на меня выскочил. Я хотел врезать ему с правого ствола — осечка! С левого — опять осечка!

Николай, засыпая, дёргался, будто колола его под локти и под колени электрическая искра. Жар костра доходил до палатки, горячил лицо.

— Леший! — всё вспоминал Грошев, глядя в огонь. — Да что же это такое, а?

— Так, — ответил я, уже задрёмывая. — Так, наверное, явление природы.

ЛИСТОВОЙ

Ночью задул листвоной — холодный октябрьский ветер. Он пришёл с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.

Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновою щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья.

Раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья берёзы, растущей под окном.

К утру берёза эта была уже раскрыта настежь. Сквозь ветки её текли и текли холодные струи листобая, чётко обозначенные в сером небе битым порхающим листом.

Паутина, растянутая в ёлочках строгим пауком-крестовиком, была полна берёзовых листьев. Сам хозяин её уже скрылся куда-то, а она всё набухала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.

Найда

Найда — это имя так же часто встречается у гончих собак, как Дамка у дворняжек. Верная примета: гончая по имени Найда всегда найдёт зверя.

Когда я приезжаю в деревню Стрюково к леснику Бульге, у крыльца встречает меня старая Найда, русская пегая. Её белая рубашка расписана тёмными и медовыми пятнами.

— Ей скоро паспорт получать, — шутит Бульга. — Шестнадцать осеней.

Не годами — осенями отмечают возраст гончих собак. Лето и весну они сидят на привязи, и только осенью начинается для них настоящая жизнь.

Про молодую собаку говорят — перво-осенница. Про старую — осенистая.

Найда немало погоняла на своём веку и заработала на старости лет свободную жизнь.

Молодые гончие Ураган и Кама на привязи, а Найда бродит где хочет.

Да только куда особенно ходить-то? Всё исхожено. И Найда обычно лежит на крыльце, приветливо постукивая хвостом каждому прохожему.

В октябре, когда грянет листвобой и начнётся для гончих рабочая пора — гон по чернотропу, — Найда исчезает.

Целый день пропадает она в лесу, и от дома слышен её глухой голос — то ли гонит, то ли разбирает заячьи наброды.

Заслышав её, Ураган и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадоренные гонным голосом Найды.

К ночи возвращается Найда, скребётся на крыльце, просится в дом.

— Куда-а? — хрипло кричит от стола Булыга. — В дом? Там сиди!

Но после всё-таки открывает дверь, впускает Найду.

Покачивая головой, кланяясь, она переступает порог и, прихрамывая, идёт к печке. Мякиши — так называют подошвы собачьих лап — сбиты у неё в кровь.

Найда ложится в тёплом углу у печки и спит тревожно, дёргается, лает, перебирает лапами во сне — гонит, видно, осенистая.

Гонит, гонит...

По чернотропу

— Эй, давай-давай! Догоняй-добирай!

Мы с Булыгой бежим по лесу, кричим-поём, разжигаем собак.

— Где он? Где он? Где он? — на высокой ноте стонет Булыга.

— Вот он! Вот он! — поддерживаю я.

Собаки уж и сами разожжены. Огромный камнелобый Ураган проламывается по кустам, глаза его приналиты кровью; узкокостная, извилистая Кама носится вокруг и нервно дрожит, фыркает, припадая к палому листу.

Вот Кама подаёт голос, короткий, неуверенный. Эту первую фразу гона даже и нельзя назвать лаем. Это возглас. Так охнула бы женщина, уронившая кувшин с молоком: «Ой!»

— Ой-ё-ё-ё-ёй! — сразу подхватываем мы с Булыгой, и где-то в кустах хрипло

рявкает Ураган, прочищает горло, утомлённое летним глупым, безгонным лаем.

Кама заливается сплошной трелью, голос её возвышается с каждой фразой, к ней подваливают старая Найда и Ураган — звенит, бьётся, колотится меж ёлок, разливается по чернотропу, по застывающему предзимнему лесу голос гона.

— Напересёк! — кричит Булыга.

— Напересёк! — отвечаю я и бегу куда-то, уж и сам не знаю куда: напересёк, на поляну, на просеку, в березняк, где таится в кустах, где мчится мне навстречу взма-теревший осенний беляк.

В е е р

На рябине, что росла у забора, неведомо откуда появилась белка.

Распушив хвост, сидела она в развилке ствола и глядела на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях.

Белка побежала по стволу и повисла на ветке, качнулась — перепрыгнула на забор. Она держала во рту гроздь рябины.

Быстро пробежала по забору, а потом спряталась за столбик, выставив наружу только свой пышный, воздушный хвост.

«Веер!» — вспомнил я. Так называют охотники беличий хвост.

Белка спрыгнула на землю, и больше её не было видно, но мне стало весело. Я обрадовался, что поглядел на белку и вспомнил, как называется её хвост, очень хорошо — веер.

На крыльце застучали сапоги, и в комнату вошёл лесник Булыга.

— Этот год много белки, — сказал он. — Только сейчас видел одну. На рябине.

— А веер видел?

— Какой веер? Хвост, что ли?

— Тебя не проведёшь! — засмеялся я. — Сразу догадался.

— А как же, — сказал он. — У белки — веер, а у лисы — труба. Помнишь, как мы лису-то гоняли?

Лису мы гоняли у Кривой сосны.

Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, и мы никак не успевали её перехватить.

Потом я выскочил на узкоколейку, которая шла с торфяных болот, и увидел лису. Мягкими прыжками уходила она от собак. В прыжке она прижимала уши, и огненный хвост стелился за нею.

— А у волка хвост грубый и толстый, — сказал Булыга. — Называется — полено.

— А у медведя хвостик коротенький, — сказал я. — Он, наверное, никак не называется?

— Куцик.

— Не может быть!

— Так говорят охотники, — подтвердил Булыга. — Куцик.

Этот куцик меня рассмешил. Я раскрыл тетрадку и стал составлять список хвостов: веер, труба, полено, куцик.

На рябину тем временем вернулась белка. Она снова уселась в развилке ствола и оглядывала ягоды, свесивши свой пышный хвост — веер.

Был конец октября, и белка вылиняла уже к зиме. Шубка её была голубая, а хвост — рыжий.

— Мы забыли зайца, — сказал Булыга.

А ведь верно, список хвостов получался неполный. Зайца забыли.

Заячий хвост называется — пых.

Или — цветок.

Н о ч н ы е н а л и м ы

С первыми холодами в Оке стал брать налим.

Летом налим ленился плавать в тёплой воде, лежал под корягами и корнями в омутах и затонах, прятался в норах, заросших слизью.

Поздно вечером пошёл я проверить донки.

Толстый плащ из чёрной резины скрипел на плечах, сухие ракушки-перловицы, усеявшие окский песчаный берег, трещали под сапогами.

Темнота всегда настораживает. Я шёл привычной дорогой, а всё боялся сбиться и тревожно глядел по сторонам, разыскивая приметные кусты ивняка.

На берегу вдруг вспыхнул огонь и погас. Потом снова вспыхнул и погас. Этот огонь нагнал на меня тревогу.

Чего он там вспыхивает и гаснет, почему не горит подольше?

Я догадался, что это деревенский ночной рыбак проверяет удочки и не хочет, видно, чтоб по вспышкам фонаря узнали его хорошее место.

— Эй! — крикнул я нарочно, чтоб поугадать. — Много ли наловил налимов?

«Многолиналовилналимов...» — отлетело эхо от того берега, что-то булькнуло в воде, и не было больше ни вспышки.

Я постоял немного, хотел ещё чего-нибудь крикнуть, но не решился и пошёл потихоньку к своему месту, стараясь не скрипеть плащом и перловницами.

Донки свои я разыскал с трудом, скользнул рукой в воду и не сразу нащупал леску в ледяной осенней воде.

Леска пошла ко мне легко и свободно, но вдруг чуть-чуть напряглась, и неподалёку от берега возникла на воде тёмная воронка, в ней блеснуло белое рыбье брюхо.

Пресмыкаясь по песку, выполз из воды налим. Он не бился бешено и не трепетал. Он медленно и напряжённо изгибался в руке — ночная скользкая осенняя рыба. Я поднёс налима к глазам, пытаюсь разглядеть узоры на нём, тускло блеснул маленький, как божья коровка, налимий глаз.

На других донках тоже оказались налимы.

Вернувшись домой, я долго рассматривал налимов при свете керосиновой лампы. Их бока и плавники покрыты были тёмными узорами, похожими на полевые цветы.

Всю ночь налимы не могли уснуть и лениво шевелились в садке.

Ш а к а л о к

Около клуба мне повстречался уличный деревенский пёс по прозвищу Шакалок. Он радостно кинулся ко мне, подпрыгивая от восторга.

Я дал Шакалку кусочек хлеба и пошёл по своим делам, а Шакалок побежал за мною.

Мы прошли чуть не всю деревню и встретили почтальона дядю Илюшу. Дядя Илюша отдал мне газету «Труд», и мы распрощались. Шакалок побежал теперь за почтальоном.

Дядя Илюша заходил в каждый дом, а Шакалок терпеливо ждал его на улице. Скоро им повстречался завскладом Колька Кислов, и дядя Илюша остался без собаки. Шакалок бежал теперь за Колькой.

Так целыми днями Шакалок менял хозяина и бегал то за тем, то за другим. А когда не бывало на улице человека, Шакалок торчал у магазина, поджидая кого-нибудь, за кем можно побегать. Шакалок был пепельно-рыжий пёс, с розовым носом и разными глазами. Бегал он вприпрыжку.

Но вот в деревню Стрюково приехал новый учитель. Он покормил Шакалка городской колбасой, и тот не отставал теперь от учителя ни на шаг. Даже поджидал его у школы.

Раз я встретил учителя на улице. Он торопился в школу, а за ним деловито бежал Шакалок. Мы поздоровались, и я порадовался, что Шакалок нашёл хозяина.

Я пошёл дальше и вдруг почувствовал, что кто-то лизнул мне руку.

Шакалок-то бежал за мною.

К о л ы ш к и

Ночью в лесу у костра на меня напал страх.

Я глядел в огонь и боялся поднять голову: казалось, кто-то смотрит на меня из темноты.

Костёр медленно загасал, и в лесу было тихо. Только вдруг в тишине слышался тоненький треск и короткий шёпот. Кто-то шептался обо мне, и казалось, я даже разбираю одно слово: «Ко-лы-шки...»

«Какое дикое слово! — думал я. — К чему оно?»

Взяв топор, я обошёл вокруг костра. Тень двигалась по стволам деревьев, а за спиной кто-то шептался, шушукался.

— Эй! — закричал я. — Чего вы там шепчетесь! Идите к огню...

Испугавшись громкого голоса, надоевшей в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится там и шепчется листвою.

С н е ж у р а

Листою пригнал снеговую тучу.

Не доходя деревни, улеглась она на верхушки ёлок, раскинула пятнистые лапы, свесила серую рысью морду. Потом загребла лапой — из лесу посыпались на дерев-

ню листья, а с ними одинокие большие снежинки.

В полёте снежинки слепливались друг с другом и падали на землю, как узорные блины.

Туча цеплялась за верхушки деревьев, а листвобой подталкивал её, гнал, торопил.

Нехотя подползла туча к деревне — густыми волнами повалил снег. Сразу накрыл он огороды, крыши домов.

Несколько антоновских яблок, которые случаем остались на дереве, превратились в белые пухлые лампы.

Прошла туча, и показалось, что наступила зима.

Но уже через минуту снег стал таять. Проступили под ним жёлтые лужи, выползла дорожная грязь, увядшая картофельная ботва.

Побелевшее было поле опять запестрело, и через полчаса кое-где только остались снежные пятна.

Я побежал из дому, нагрёб под берёзой снегу и слепил первый в этом году снежок.

Найда вышла на крыльцо поглядеть, что я делаю.

— Эй, Найда, Найда, лови! — закричал я и хотел залепить в неё снежком, а он

уже растаял. В руке от снежка осталось несколько берёзовых листьев.

Октябрьский снег — это ещё не снег. Снежура́.

Лось

Кукла, белоснежная лайка, нашла в чернолесье лося.

Гончие сразу подвалили к ней и, когда мы выскочили на поляну, уже обложили лося кругом, заливались, хрипели, исходили яростью.

Наклонив голову к земле, он мрачно глядел на собак и вдруг выбрасывал вперёд ногу — страшное живое копьё.



Один удар пришёлся в берёзку — она рухнула, как срубленная топором.

Мы с Булыгой долго бегали вокруг, ругались, трубили в рога, но никак не могли оторвать собак от лося.

Этого лося хорошо знают деревенские жители. Они боятся его, считают, что он «хулиган», «архаровец». Когда-то он будто погнался за молодой бабой, напал на коров, приходил много раз в деревню и подолгу стоял у Миронихина дома. Чуть ли не спрашивал: «А где Мирониха?»

Один раз он и меня сильно перепугал.

Затаившись, ждал я на лесном болоте уток, когда вдруг услышал в орешнике треск сучьев и тяжёлое дыхание «архаровца».

Багровый на закате, огромный, ободранный, тонконогий, он вышел на поляну и стал в десяти шагах, глядя на меня.

Я поглубже ушёл в ёлку, а он всё глядел на меня, раздувая ноздри, шевеля тяжёлой губой. Чёрт его знает, о чём он думал.

Л и с т ь я

К утру иногда затихнет, но к вечеру снова расходится и свистит, шастает по деревьям, швыряется листьями надоедливый листобой.

Берёзки на опушке давно уже сдались ему; без листьев сразу стали они сиротливыми, растерянно стоят в пожухлой траве.

А осины совсем омертвели. Вытянув крючья веток, они ловят чужие листья, как будто никогда не имели своих.

Я поднял осиновый лист. Обожжённый бабьим летом, лист горел, как неведомая раковина. Огненный в центре, он угасал к краям, оканчивался траурной каймой.

В глубине леса нашёл я клёны. Защищённые ёлками, неторопливо, с достоинством роняли они листья.

Один за другим я рассматривал битые кленовые листья — багряные с охристыми разводами, лимонные с кровавыми прожилками, кирпичные с крапом, рассеянным чётко, как у божьей коровки.

Клён — единственное дерево, из листьев которого составляют букеты. Прихотливые, звёздчатые, они ещё и разукрасились таким фантастическим рисунком, какого никогда не придумает человек.

Рисунок на листьях клёна — след бесконечных летних восходов и закатов. Я давно замечаю: если лето бывало дождливым, малосолнечным, осенний кленовый лист не такой молодец.

Кувшин с листвобом

Сырой землёй, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листвобой.

На речном обрыве, где ветер особенно силён, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобая и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил её воском.

Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашенную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.

Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землёй, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Давно, двадцать с лишним лет тому назад, по просьбе издательства «Детская литература» я написал предисловие к сборнику рассказов «Кепка с карасями». Автором книги был ещё молодой тогда писатель Юрий Коваль. Много времени прошло с тех пор. Мы стали друзьями... Юрий Иосифович создал новые замечательные книги, сделался известным во всём мире писателем, любимцем не только детского, но и взрослого читателя.

И вот... Это случилось 2 августа 1995 года. Утром зазвонил телефон, я услышал родной голос Юры Ковалю. В тот день он собирался ехать в деревню, где проводил лето с семьёй. Мы говорили долго, он жаловался на недомогание, хотя врачи успокаивали его. А ещё через три часа мне сообщили: произошло непоправимое — остановилось сердце.

Не только друзьям Юрия Ковалю, но и сотням тысяч читателей, детей и взрослых, трудно было поверить, что нет больше рядом с нами удивительного писателя, художника, красивого, жизнерадостного человека. В последние годы Юрий Иосифович писал прекрасные рассказы и сказки, опубликовал сборники «Поздним вечером ранней весной»,

«Опасайтесь лысых и усатых», закончил фантастический роман «Суер-Выер». Состоялись выставки работ Ковалея-художника, где были представлены его лирические, живописные холсты, деревянные скульптуры, причудливые эмали. Писатель часто выступал по радио и телевидению: читал свои новые рассказы, пел песни собственного сочинения. Редкостное обаяние и артистизм помогли ему завоевать любовь миллионов телезрителей и радиослушателей всех возрастов.

...На берегу московской речки Яузы сохранилась мастерская, где Юрий Иосифович работал как художник и скульптор. Здесь же часто собирались его друзья: бывшие однокурсники по пединституту, молодые и пожилые литераторы, художники, барды, музыканты, ботаники, рыбаки, просто соседи, — всех не перечесать. И гостеприимный хозяин был так дружелюбен, что ни один гость не был обойдён доброй его улыбкой, искренним вниманием. Да, сердечного тепла у Юрия Ковалея хватало не только на каждого личного друга, но и на всех многочисленных друзей-читателей...

Я. Аким
1997



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Я. Аким. Писатель и его книга</i>	5
--	---

АЛЫЙ

Алый	11
Елец	38
Козырёк	44
Особое задание	52
Белая лошадь	69

ЧИСТЫЙ ДОР

По лесной дороге	77
Чистый Дор	79
Стожок	84
Весенний вечер	88
Фиолетовая птица	90
Под соснами	93
Около войны	96
Берёзовый пирожок	103
Лесовик	105
Железяка	112

Вишня	115
Колобок	117
Картофельный смысл	120
Кепка с карасями	123
Нюрка	132
Бунькины рога	137
Выстрел	141
Вода с закрытыми глазами	148
Клеёнка	154
По-чёрному	164
Подснежники	167
Последний лист	171

ЛИСТОВОЙ

Капитан Клюквин	177
Серая ночь	190
Лабаз	196
Лесник Бульга	210
Белозубка	217
У Кривой сосны	228
Картофельная собака	242
Гроза над картофельным полем	261
Листовой	284
<i>Я. Аким.</i> Вместо послесловия	300

Литературно-художественное издание

СЕРИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Коваль Юрий Иосифович

КЕПКА С КАРАСЯМИ

Рассказы

Ответственный редактор

С. А. Малышева

Художественный редактор

Е. М. Ларская

Технический редактор

Н. Г. Дреничева

Корректор

В. В. Борисова

Компьютерный дизайн обложки

М. В. Григоренко

Компьютерная верстка

В. И. Тушева

Подписано в печать 24.06.11. Формат 84x108 ¹/₃₂. Бумага офсетная № 1. Шрифт «Школьный». Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 9,68.
Тираж 5000 экз. Заказ .

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
ОАО «Издательство «Детская литература».
125319, Москва, ул. Черняховского, 4.
[www. detlit.ru](http://www.detlit.ru)